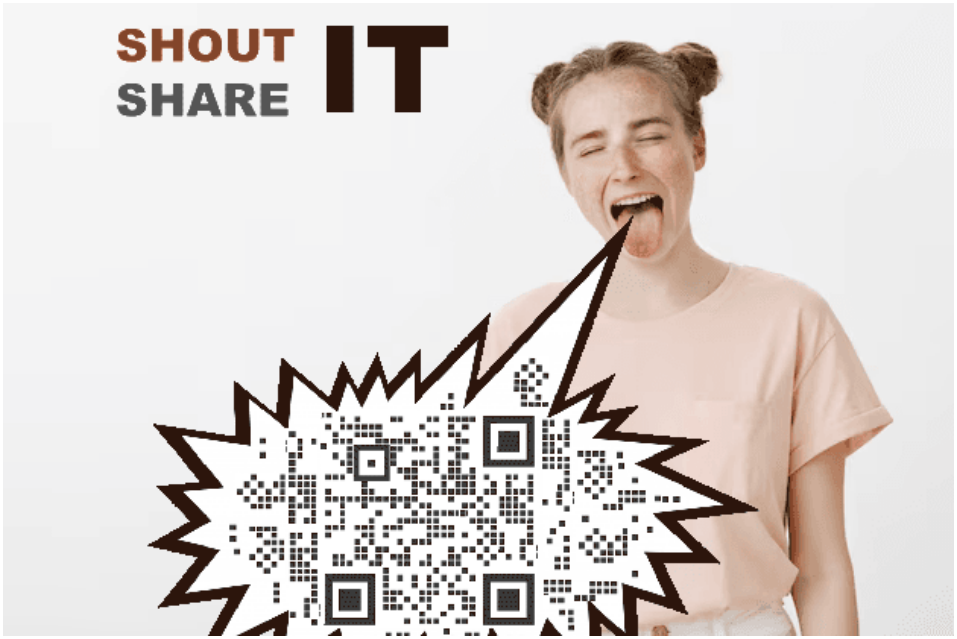
«Кто сказал, что Золотой Век Фантастики прошёл?»

Андрей Лазарчук

ГРЭЙ Ф. ГРИН

КЕТОПОЛИС

КИТЫ И БРОНЕНОСЦЫ


SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Культовая серия книг "Кетополис: город китов" Грея Ф.Грина (Grey Ph.Green), ранее не издававшаяся в России, уже успела завоевать миллионы поклонников по всему миру. Действие книг происходит в начале XX века на вымышленном острове на стыке Индийского и Тихого океанов. Там правит жестокий и таинственный одноногий Канцлер, мечтающий уничтожить всех китов в мире. К его услугам паровые машины — автоматоны, и жестокая извращенная наука об электричестве. Против Канцлера выступают как простые люди, так и мрачный кровавый маньяк Вивисектор. Что делать героям, оказавшимся между двух огней? И так ли уж не прав Канцлер, желающих уничтожить китов? И так ли они безобидны, как думаем мы? Критики сравнивают автора с его знаменитыми предшественниками: "Кетополис — это роман-мозаика, в котором "Моби Дик" Мелвилла встречается с "Островом доктора Моро" Герберта Уэллса".

От переводчика:

Я постарался сохранить стиль оригинала, насколько это возможно. Автор меняет стиль для каждой истории, так что это непросто. Заранее извиняюсь за возможные ошибкию К тому же часть фрагментов переводил не я. Куски будут выкладываться по мере готовности.

Буду рад указаниям на любые заманиечя и ошибки.

Напоминаю, что перевод романа сделан энтузиастами и не преследует коммерческой цели. И еще одно — скажите, вам понравилось?:)

Антон Кирпичов

- Грэй Ф.Грин
  - Часть I. В сетях
    -
    - Мое имя Никто: История офицера
      -
      - 1. Имя
      - 2. Любовь
      - 3. Ссора
      - 4. Опера
      - 5. На корабле
      - 6. Танго
      - 7. Страж границы
      - 8. Маяк Тенестра
      - 9. Смерть

- 10. Приговор
- Левиафан или Побежденное чудовище
- История инспектора: Прощание с Баклавским
  - I. Ручей
  - II. Сиамские причалы
  - III. Новый порт
  - IV. "Ла Гвардиа"
  - V. Круадор
  - VI. Мертвый порт
  - VII. Плетельня
  - VIII. Кето, вид с моря
  - IX. Горелая Слобода
  - X. Восточный бульвар
- Историографические заметки на полях
- Живое щупальце: История рабочего

Грэй Ф.Грин
Кетополис — Киты и броненосцы

Часть I. В сетях

1901 год. Кетополис. Фотографии в коричневых тонах, сепия. Клетчатые пиджаки, лаковые штиблеты, котелки. Дамы в платьях с турнюром. Женские шляпки. Экипажи. Паровые мобили, похожие на коляски без лошадей. Револьверы. Снова экипажи. Газовые фонари. Электричество. Лейденская банка. Автоматы-продавцы газет. Слухи. Вы слышали, второго дня… Ужас! Ужас! Морские офицеры в форме, с кортиками, гуляют под ручку с дамами. Над крышами завис дирижабль. В театре "Ла Гвардиа" дают "Коральдиньо". Играет Генрих Тушинский. Гений! Гений! Да, гений, но как он пьет… вы слышали? Разбил швейцару лицо. Неслыханно! Мерзкий скандал. А завтра у него дуэль. О, даже так? Перед спектаклем. Неужели со швейцаром? Что вы, это был бы ле моветон, как выражаются наши друзья-галлийцы… С морским офицером. Но ведь господин Канцлер запретил офицерам драться! Война. У бедняги нет выбора. Задета его честь. Если откажется, он погиб в глазах света. Уничтожен! Уничтожен! Но что еще хуже, он погибнет в глазах Заславской. Опять эта Ядвига. Шлюха. Снова она. Сам Анджей Любек ухаживал за ней. Вы знаете? Это давно не секрет. Предлагал миллион. Она отказалась, надменная. Фабрикант рыдал у ее ног. Жестокая. Бедный Анджей пробовал стреляться… Идиот, с его капиталами.

А бедняга-офицер пойдет на каторгу. Увезут прямо с места дуэли. Да, да, вы не ослышались. Господин Канцлер подписал приказ. Какие формальности в наше время? Остенвольф у стен Патройи. У него какие-то новые автоматоны. Ужас! Ужас! Вы слышали свежую запись Шаляпина? Эти новые звуковые пластинки великолепны… Я не слушаю. Что вы, один скрежет. Голос совершенно плоский. Не скажите! Шаляпин… У Шаляпина бас, а где вы слышали там бас? В лучшем случае — далекое эхо через телефонный аппарат. Это провинциально. Нет, опера! Только опера. О, это восторг! Шаляпин в роли Левиафана — чистый незамутненный… Провал? Ну уж нет, позвольте не согласиться! Провал, это когда… В никелевых карьерах мятеж! Каторжники взбунтовались! Покупайте "Огни Кето"! Покупайте!

Боевые паровозы. Дикари с духовыми трубками. Идут

за автоматонами и жарят на кострах наших доблестных морских пехотинцев. Что вы, какой же это бред?! Мне рассказывали…

Мое имя Никто: История офицера

Океанский бриз рвет полы черной морской шинели.

Светает. Утоптанная трава, рядом — обрыв, волны бьются о серые камни. Летят брызги. "О скалы грозные дробятся с ревом волны".

Офицер бросает шинель на руки вестового, остается в мундире. Без перчаток пальцы занемели, мерзнут. Офицер дышит на них. Белесый пар улетает в сторону. Холодно. Секундант Тушинского в черном сюртуке, в плаще, в шляпе, которую придерживает рукой. Худое костистое лицо. Делайте п-поправку на ветер! — говорит секундант офицера. Тушинского все нет. Наконец, слышен шорох колес и рокот двигателя, шумный свист пара. На дороге, ведущей из города, появляется черный мобиль на резиновом ходу. Шофер в коже, в круглых очках, насмешливо улыбается. Кабина за ним закрыта темными шторками. Машина дребезжит на камнях, лихо разворачивается, испускает гудок. Стравливает пар. Смех. Женский, грудной. Звучит насмешкой? Нелепо, странно. Секунданты переглядываются.

— Где д-доктор? — спрашивает секундант офицера у секунданта Тушинского. Тот молча качает головой. Не знаю. Секундант офицера срывается, бежит к стоящей вдоль обрыва веренице машин. Ветер доносит его сорванный нервный голос:

— Где доктор? Ах, б-боже ты мой!

Тушинский все не выходит. Опять смех. Наконец ведут доктора. Он цапельно перебирает ногами. Кто-то открыл шампанское — слышен хлопок, голоса: о! за вас! за вас друзья! Доктор пьян. Это худой старик в цилиндре. Белые усы и борода клинышком. У него брюки в тонкую полоску, выше щиколоток, тусклые лакированные ботинки. Доктора держат под руки. Один из людей отделяется от группы и бежит к офицеру. Это его секундант.

— Где п-пистолеты?! — нервничает секундант.

— А кого убили? — спрашивает доктор с интересом.

Издалека, от города, доносится первый удар — медленно раскатывается в стылом воздухе. Офицер поднимает голову. Бьют часы на ратуше. С заминкой — гораздо ближе — начинают бить часы за старым портом. Бомм. Бомм. Боммм. Размеренные низкие удары, усиленные эхом. С английской четкостью отстукивают положенное хронометры далекого адмиралтейства. Офицер

считает: шесть, семь… С последним ударом дверь мобиля распахивается, на подножку встает человек. Это стройный мужчина в модном пальто. Он изящно откидывает руку с папиросой, замирает так. Тушинский!

— Эффектно, — говорит кто-то за спиной офицера. Порыв ветра разрывает аплодисменты в клочья. Тушинский раскланивается.

— Я не опоздал? — разносится его мягкий голос.

— Вовремя, — говорит офицер хрипло. Тушинский вздрагивает.

Секунданты ведут переговоры. Офицер поднимает взгляд. Небо — сырое и серое. Парусина, провисшая от дождевой воды.

Над побережьем вытянутым пятном плывет дирижабль. Трансокеанский, с материка. Если повернуть голову, то вдалеке, за рядами крыш видно ледяную иглу Хрустальной башни — воздушного вокзала. Но офицер этого не делает. Офицер закрывает глаза.

…Цеппелин занимает полнеба. Брюхо у него серое и грязное. Раздувшаяся туша. Он медленно приближается к причальной башне. Это один из верхних этажей. Цеппелин движется медленно. Наплывает. Лица людей за стеклом. Р-раз! Рты раскрываются одновременно — люди кричат, но не слышно ни звука. Внезапная глухота. Отражение цеппелина движется в стекле. Дирижабль так огромен, что рассудок тянется, словно резиновый.

Вытянутое тело с надписью "LES TRANSPORTS NATIONAUX aIriens" втискивается в башню. Стекло крошится. Кронштейны гнутся и стонут. Маленькие люди начинают судорожный бег. Их фигурки мечутся и дергаются.

Взрыв. Вспышка. Стена разом лопается. Плиты хрусталя выскакивают из створок и летят вниз. Ниже, ниже, ниже — до самой земли. Здесь стриженая трава и посыпанные песком дорожки. Плиты беззвучно падают и так же беззвучно разбиваются. Осколки медленно проносятся перед лицом дамы с белым зонтом, протыкают насквозь собаку, человека в рединготе, летят дальше. Черные росчерки крови летят вслед.

Офицер стоит и смотрит. Вспышка — почему-то серая — вспухает на башне. Это видно издалека. На тонкой ножке вырос чудовищный нарыв. Весь Кетополис смотрит на это.

И ни звука.

Офицер открывает глаза. Возвращаются смазанные голоса и шум ветра. Грохот прибоя, далекий смех. Хлопки шампанского. От вереницы машин тянутся к месту дуэли любопытные. Офицер поводит плечами, морщится.

К нему подбегает бойкая журналистка:

— "Огни Кето", позвольте представиться, меня зовут… господин лейтенант! да постойте же!

Офицер отмахивается.

Секундант Тушинского беседует с Тушинским. Секундант офицера стоит неподалеку. Доктор привалился к его плечу и дремлет.

Суровый господин с жесткими пшеничными усами. Перед ним — раскладной пюпитр для письма, бумага и чернильница со стеклянным витым пером. Налетает ветер, воет, теребит бумагу, но листки не уносит, бумага закреплена. Господин в летах, грузен. Спокойствие и равнодушие.

Он держит в руках луковицу часов, цепочка уходит под жилет. Господин защелкивает часы и убирает в жилетный карман.

Этот важный господин — распорядитель дуэли.

— Господа… господа, прошу ко мне! — повышает голос распорядитель, чтобы перекрыть вой ветра. — Начинаем.

Он зачитывает вслух, о чем договорились секунданты, подводит итог:

— Был выбран поединок на пистолетах. Что ж, вполне ожидаемое решение. Остались некоторые формальности… Каким оружием желаете воспользоваться? На ваш вкус, господа: дуэльный набор от Мортимера — рекомендую, классика! — или превосходная пара галлийской работы. Что выбираете? Господин актер, слово за вами.

— Я бы предпочел револьверы, — говорит Тушинский. — Если позволите.

Молчание. Лица секундантов вытягиваются, но распорядитель невозмутим.

— Ваше слово, господин лейтенант?

…мертвый, раздувшийся дирижабль, выброшенный на берег. И чайки кружат над ним.

— Согласен.

— Прекрасно, — распорядитель даже не моргает. — Благодарю, господин актер. Тогда, я считаю, будет справедливым, если ваш противник выберет дистанцию. Какую дистанцию предпочитаете? Господин лейтенант!

Офицер поводит плечами.

— Простите?

— Дистанция, господин лейтенант?

— Тридцать шагов, — голос звучит низко и хрипло, как от недосыпа.

Распорядитель кивает: все по кодексу. Потом говорит:

— Господа, позвольте осмотреть ваше оружие.

Негромко щелкает застежка кобуры. Офицер протягивает револьвер рукоятью вперед. Черные каучуковые накладки, вороненый металл, в предохранительное кольцо продет витой шнур. У офицера — побелевшие пальцы, неровно обгрызенные ногти. Револьвер Тушинского из светлой стали, рукоять украшена перламутром. Секунданты осматривают оружие, диктуют распорядителю по очереди — тот записывает:

— Револьвер системы Лебеля, калибр восемь миллиметров. Ствол длинный.

— Револьвер системы Кольта, морской, калибр девять. Ствол средний.

— Неравноценно, господа, — говорит распорядитель, закончив писать. Револьверы лежат перед ним на раскладном деревянном пюпитре: блестящие металлические рыбины. — Неравные условия. Что будем делать?

Тушинский открывает рот… Офицер резко дергает головой: неважно. Тушинский переводит движение губ в многозначительное "о!".".

Некоторое время распорядитель молчит, внимательно смотрит на противников. В пшеничных усах гудит ветер. Глаза светлые и неподвижные — точно из стекла.

— Должен предупредить, господа, — произносит распорядитель наконец, — что выяснившиеся обстоятельства придают дуэли статус "исключительной". Вы знаете, что это означает?

— Это означает, — продолжает распорядитель, игнорируя возмущенные возгласы секундантов, — что суд чести может счесть условия и итог поединка сомнительными, что, в свою очередь, приведет к судебному разбирательству. Вы меня понимаете?

Глухой рокот волн. Вой ветра.

— Да, — говорит офицер.

— Да, — Тушинский. — И стала буря…

— И у вас нет возражений?

— Нет.

— Нет.

— Ваше право, — заключает распорядитель. — Однако мой долг — внести изменения в протокол. Извольте дать мне несколько минут…

Прежде чем встать к барьеру, офицер в последний раз оглядывается. Скальный обрыв, волны бьются о камни. Водяная пыль. К городу ведет дорога — зигзагом; вдалеке виден маяк Фло и — гораздо ближе, темным конусом, с головой в облаках и тумане, маяк Тенестра.

1. Имя

Зовите меня Козмо.

Мое имя никак не переводится, и искать в библии значение его бесполезно. Разве что кроме одного — мои родители, как вы уже, наверное, догадались, безумно любили оперу. Иногда мне казалось, что они любили оперу больше, чем меня.

Сейчас, пройдя путь от точки А до точки Б, получив пулю в левую руку и станцевав танго (вы о нем еще узнаете), я могу сказать: так и есть. Я не входил в круг родительских интересов. Наверное, когда у них появился я — красный и сморщенный, орущий благим матом — родители сходу предрешили мне карьеру оперного певца-баритона, но — просчитались. Любимца публики из меня не вышло. Певца, к счастью, тоже.

Из меня, в общем-то, не вышло даже приличного баритона.

— Аааaа! — кричу я, размахивая руками. Голос мой звучит чисто и красиво — как только может звучать голос восьмилетнего мальчишки. Я бегу по песку в белой матроске, в синей шапочке с бомбоном; из-под моих ног вспархивают откормленные чайки. В голове шумит ветер и прибой. За моей спиной — песчаный пляж, вдалеке — белая парусиновая палатка. Идиллия. Там моя мама читает сочинение госпожи Шелли, а отец дремлет в шезлонге, надвинув на глаза панаму и уронив руку с подлокотника. Волна пенно накатывает на песок, убегает, шипя и огрызаясь. Пальцы отца недавно что-то сжимали, теперь между ними струится вода. Я как наяву вижу эту картину: под зеленоватой толщей остаются белые исписанные страницы. Кажется, это какое-то очередное либретто…

Маму зовут Гельдой, отца — Константином. Она социалистка, он регуляр-инженер с Механического, делает боевых автоматонов.

Вроде бы все рассказал?

Ах, да. За мной по песку гонится нянька.

Я на бегу поворачиваюсь и показываю язык. Няньку зовут Жозефина, она галлийка из Прованса. Сейчас я назвал бы ее хорошенькой, тогда считал, что она дура. В общем, уже в том возрасте я подозревал, что все мои беды будут от женщин.

— Аааaа! — кричу я, когда разозленная девушка наддает и хватает меня за шиворот…

— Да, — говорю я спустя семнадцать лет. В глотке моей, вероятно, умер кто-то простуженный. Тушинский улыбается — господин актер улыбчив и отменно вежлив — как вежливы мертвецки пьяные люди. Гений, говорят мне. Он, несомненно, гений. Голоса плывут в свете газовых рожков, искривляются

желтыми полосами. Генрих, повторяет Ядвига настойчиво. Имя тяжело опускается на дно. Я молча смотрю. Ядвига сегодня в иссиня-черном платье, и прекрасна настолько, что я едва могу дышать. В изгибе ее шеи — бог. По крайней мере, я не видел лучшего изображения бога.

— Козмо, скажите хоть вы! — Ядвига поворачивается ко мне.

…У меня и сейчас перехватывает дыхание.

— Козмо?

Кажется, время не властно над двумя вещами — оперой и человеческой глупостью. Как двести лет назад певцы разевали рты, выводя "ля", так и сейчас некто вроде меня открывает рот, чтобы стать похожим на большую рыбу.

Спустя много лет я сижу здесь, на веранде, набросив на плечи китель с контр-адмиральскими эполетами, и вспоминаю. Ноги мои босы, нагретое дерево под пятками, а я смотрю, как вниз по течению шлепает катер, брызги солнца летят с колес. Протяжный гудок возвещает о прибытии. Рано они сегодня. Я щурюсь, смотрю на солнце. Рано. Еще и одиннадцати нет. Под веками пылает красным. Что ж, поиграем в жмурки, Козмо Дантон, господин контр-адмирал, которого не существует. Я привычно потираю шрамы на запястьях. Как они выглядят? Кто побывал на каторге (или прочитал хотя бы один графический роман в бумажной обложке — что полезнее) знает, как они выглядят… Ну, как следы кандалов.

В тот вечер, открыв рот, я сказал:

— Пани Заславская, выходите за меня замуж.

Наверное, я был смешон — влюбленные обычно смешны.

— Козмо… ну зачем вы?

Хороший вопрос. Я вижу: рядом шипит граммофон. Звук — блестящий, жестяной, свернутый в раструб — бьется в замкнутом пространстве. Стены гостиной. Темный орех, резные панели — рельеф их словно вдавлен в мой мозг. Еще вижу: стук каблуков, скрип паркета, отблеск света на бокалах. Смех. Сладковатый запах хороших папирос и плохих манильских сигар. Я щурюсь. Кажется, глаза совершенно пересохли…

Сейчас, прожив на свете больше полувека, пройдя мор, глад и встречу с родственниками жены, я понимаю: есть слова, которые не стоит произносить. Это как в танго — прежде чем сделать шаг, нужно встретиться взглядом. И чтобы ответили "может быть". Иначе будет не танец, а неловкость и насилие. Например, если сказать без всякой подготовки: я люблю тебя — результат предсказуем.

Или: предлагаю руку и сердце…

Понимаете?

Это вынуждает другого быть жестоким. А это мало кому понравится — быть таким жестоким бескорыстно.

…Впрочем, Ядвига оказалась милосердна. Она дала мне возможность снять свои окровавленные трупы с ее бастиона.

— Козмо, милый, вы как всегда шутите!

Если бы. Я стою перед ней, лицо горит как обожженное. Уши мои пылают. Кажется, прислонись я сейчас к деревянной панели, останется выжженный отпечаток.

— Я не шучу. Впрочем, как вам будет угодно, — я кланяюсь.

— Козмо!

Я ненавидел её тогда. Ненавидел всю — от цвета глаз до вышивки на платье. Целую вечность мне казалось, что сейчас я её ударю… А потом вечность закончилась, и мне стало все равно.

Так бывает после выстрела.

Иногда, проводя учебные стрельбы, я командую: приготовиться, залп! В башне — ровное гудение электричества. Спусковая педаль уходит из-под ноги. Гальванер кивает и замыкает рубильник. Секунду ничего не происходит. Затем (БУМ!) рывок в сторону; казенная часть орудия — серо-стальная, огромная, как свисающий зад слона — уходит назад. Удар настолько мощный, что его не воспринимаешь сознанием — просто мир вокруг в одно мгновение сдвигается, застывает… расслаивается на прозрачные пластины… собирается и бежит дальше. Но уже по-другому. Мир изменился. Пара чугунных болванок, несущихся с бешеной скоростью, его неуклонно меняет. И где-то вдалеке, рядом с учебным щитом-мишенью, через несколько секунд вырастут фонтаны воды.

— Перелет! — говорю я, оглушенный. — Поправка…

На губах — кислый вкус горелого пироксилина.

…Единственное, что мне в тот момент хотелось — подойти к кушетке и лечь лицом вниз.

— Не уходите, прошу вас, — сказала Ядвига, неправильно истолковав мой взгляд. Или правильно. Положила руку на мою, сжала. — Побудьте со мной сегодня.

Женщины.

…Зря она беспокоилась, пускать пулю в висок я не собирался. Не дождетесь. Есть нечто непоправимо пошлое в том, чтобы выплеснуть мозги на стену. Даже если кажется, что под черепной костью у тебя — не живое серое вещество, а гипсовый муляж из кабинета анатомии. В бытность мою гардемарином, мы стащили такой и подбросили в койку нашему товарищу. Думали, он закричит, а мы посмеемся. Он не закричал. Он как-то очень тихо и серьезно сказал "мама" — так, что у меня мурашки по телу побежали. Озноб в затылке.

Впрочем, мы все равно смеялись. Идиоты.

Ядвига сказала: не уходите. И я остался у её ног истекать кровью.

Тот вечер.

Больше тридцати лет прошло, а я помню: танцующие пары, стук каблуков, рассыпающийся мелкими бусинами женский смех — есть такая сиамская игрушка, "дождевое дерево", которую переворачиваешь и кажется, что внутри — целый ливень. Я стою под звуками этого смеха, цветные бусины скатываются с моих плеч и разлетаются по полу. Коньяк обжигает горло. Побудьте. Я тяну бокал за бокалом. Со мной. Глоток за глотком. Сегодня.

— Козмо?

…Вколоть бы эфир под кожу — и все хорошо.

— Вы не видели Генриха? — Ядвига смотрит на меня и говорит: — Кажется, вам уже хватит, Козмо. Сколько вы выпили?

Комната передо мной покачивается. Меня окружают милые и приятные люди.

— Все прекрасно, пани. Вам помочь?

Красный ковер. Я поднимаюсь по лестнице на второй этаж — вернее, бегу. Боль внутри не отпускает. Я уже знаю, почему Яда мне отказала. Конечно! Еще бы! Лучше быть любовницей знаменитого актера, чем женой моряка. Это же просто. А ты, Козмо — идиот. Мелькают ступени. Одна, хитрая, пытается выскочить из-под ноги. Врешь! Я с размаху припечатываю её каблуком — раз! — и продолжаю бег. Всего лишь. Обида напоминает изжогу от коньяка…

Впрочем, это, наверное, и была изжога.

Наконец, я достигаю вершины. Оглядываюсь. Из ниши белый гипсовый амур таращит на меня невидящие глаза. Смотрю вправо, влево. Длинный коридор с десятком дверей — белых, красных и даже, кажется, одна синяя.

Так. И где мне его искать?

Снизу раздаются: музыка, голоса. Я начинаю поиск.

За третьей по счету дверью я натыкаюсь на целующуюся парочку — она выгибает спину, бедро, струящееся розовым шелком, мужская рука, лежащая на нем. Пардон, простите, эскюзмуа — выхожу и только тут вспоминаю, что не разглядел лица кавалера. А если это Тушинский? Возвращаюсь. Мужчина в ярости поворачивается: "Опять вы?! Идите к черту!" Нет, кажется не он. Девушка, чуть откинув голову, смотрит на меня с интересом. А она ничего. Я говорю: "К вашим услугам" — чудовищно низким голосом, глядя ей в глаза, и выхожу. За моей спиной вибрации кругами расходятся по комнате и затихают в обтянутой розовым груди.

…Все-таки из меня мог бы получиться приличный баритон.

Стою в коридоре.

С минуту пытаюсь сообразить, что меня все-таки беспокоит. Что-то здесь определенно не так.

Потом понимаю.

Конечно! В чертовом доме слишком много комнат.

2. Любовь

Давайте поговорим о любви.

Мою няню зовут Жозефина. Типичная галлийка — темные глаза, тоненькая, шатенка. Отцу она нравилась. Были они любовниками? — не думаю, для этого отец был слишком хорошо воспитан. Но нравилась ему несомненно. Я помню его неловкие-почти-ухаживания, мимолетные взгляды. Впрочем, тут я отца не виню. Пустая оболочка Гельды Дантон к тому времени уже никому ничего заменить не могла — ни мне мать, ни отцу жены.

Впрочем, я забегаю вперед.

Жозефина.

Она стала моей первой любовью.

Да, я догадываюсь, что вы хотели спросить.

Нет, тут другое.

Воспитанные девочки — рыжие кудряшки, платья с оборочками — не в счет. Даже если мужчине всего одиннадцать лет, у него должны быть легкие увлечения…

— Знаешь, папа, я влюбился. Не знаю, как это произошло. Просто случилось. Не знаю, как произошло. Просто так получилось. Я влюбился.

Сказал мальчишка, мой ровесник. Для меня это было новостью — такая откровенность.

И такие чувства.

В нашей семье это было не принято. В нашей семье обожали оперу, могли признаться в любви к Вагнеру или Фолетти, рассуждали о психологической составляющей роли Аделиды (она его любит! нет, не любит) — и все. Слово "любовь" я слышал в основном где-то рядом со словом "либретто".

— И все же она… — говорила мама.

— Да что ты!

В беседе родителей я принимал посильное участие — насуплено молчал или корчил рожи.

Теперь у меня появилось другое занятие. Иногда Жозефина садилась за рояль, играла она неплохо (хотя и не хорошо). Я

занимал место, чтобы видеть ее затылок или тонкий галлийский профиль, склонившийся над тетрадью. Завиток. Нежные пальцы. Я смотрел и иногда забывал, что должен вести себя как юный каннибал — иначе на меня обращают внимание.

В изгибе ее шеи мне чудился бог.

Однажды я подарил ей два романа за авторством Томаса Ясинского, из купленных мной (на деньги, взятые у отца) и уже прочитанных. Капитан Морской Гром, легендарный герой графических романов, в этих книгах искал сокровища Толкоттовой бездны и спасал дикарскую принцессу от древнего морского чудовища.

Хорошие книги.

Та, что про принцессу, нравилась мне больше.

В едва намеченном грифелем женском контуре мне чудились какие-то особые переживания.

Отец посмотрел на меня сквозь стекла очков и заговорил:

— Вам не кажется, молодой человек, что вы слишком торопитесь? — он выдержал паузу. — Ваша мать, кажется, эти романы еще не читала?

И мне, сгорая от стыда, пришлось идти к няне, забирать толстенные тома. Это было страшно. Я что-то бормотал, был неловок и фантастически неуклюж. Уши светились, точно огни в ночи, видимые за сотню морских миль. Левое — маяк Фло, правое — в облаках и тумане — маяк Тенестра.

Жозефина смотрела с пониманием. Дура!!!

Выйдя из ее комнаты, я в ярости швырнул романы на пол и, задыхаясь от ненависти, начал топтать. На тебе, на! Еще! В глазах стояли слезы.

В общем: знаешь, папа, я влюбился.

3. Ссора

Некоторое время я с интересом разглядываю коллекцию метел, швабр и различных приспособлений для уборки. Автоматический полотер сверкает новеньким блестящим боком. Пахнет сыростью и какой-то химией. Закрываю. За синей дверью Тушинского тоже нет — разве что он гениально вошел в образ жестяного ведра.

По коридору мне навстречу идет Ядвига. "Горничная видела его с бутылкой джина". Здесь, наверху? Она кивает. Генриху сейчас трудно, говорит Ядвига, нелады с новой пьесой. Он переживает, что может испортить роль. А у него завтра в полдень генеральная репетиция. Слышали об этом? Последний прогон

перед премьерой.

— Да, — говорю я. — Конечно.

Завалит роль? Тушинский?

На первом этаже шум становится громче.

— Яда, дорогая! — кричат снизу. — Что же вы? Идите к нам!

Вечера "у Заславской" пользуются популярностью — в первую очередь из-за репутации хозяйки. Но еще и потому, что гостям здесь редко дают скучать. Ядвига раздраженно дергает бровью.

— Не давайте ему пить, Козмо. Пожалуйста.

Взрыв смеха. Возгласы. По лестнице поднимается человек с мелким лицом и большими залысинами. В петлицу смокинга вдета красная роза — такая яркая, что у меня начинает болеть мозг. Как будто кто-то надавливает на него большим пальцем.

— Ядочка, солнышко, мы вас заждались, — говорит залысчатый с капризным упреком. На руках сверкают перстни. — Разве так можно? Мы собираемся вызывать дух капитана Н.Катля, нам не обойтись без вашей сильнейшей психической энергии.

— Почему ж не Байрона? — Ядвига спокойна: ни тени раздражения в голосе. — Договаривались кого-нибудь из поэтов.

Залысчатый сморщивается, как лимон.

— Ядочка, ради кальмара, еще скажите — Сайруса Фласка! Тут от живых поэтов не знаешь, куда деться, зачем же вам мертвые… Солнышко, я прошу вас. — он тянет вялую руку. — Пойдемте. Я… я, можно сказать, настаиваю.

Мерзкий тип.

— Послушайте, любезный, — делаю шаг вперед. Нависаю над перилами и макушкой с залысинами. Человек пригибает голову, глаза становятся кроличьи. У меня рост метр девяносто, а взгляд поставлен на "арктический холод" — с матросами иначе нельзя, съедят.

— Козмо, не надо, — она кладет руку на мою. Что-то сегодня все повторяется. День дежа вю.

Чертова роза начинает пульсировать.

— Антуан, простите меня. Вы совершенно правы… Козмо? — Ядвига поворачивается ко мне. Зеленые глаза умоляют.

— Я все понял. Идите, пани.

Когда она уходит, я стою и думаю: на черта мне сдался этот Тушинский? Сторож ли я сопернику своему? Но я обещал. Пока я размышляю, раздается легкий щелчок — открылась дверь, щелчок — закрылась, затем — звук приближающихся шагов. Кто там еще? Я отталкиваюсь от перил. Гипсовый амур глазами показывает — смотри, дурак, пропустишь. Я поворачиваю голову…

Залп.

Поворачиваюсь всем телом. Мир сдвинулся.

Так бывает после выстрела.

Розовый шелк обтекает ее с плеч до лодыжек. Она подходит, чуть запрокидывает голову — темные глаза.

— У вас есть курить? — говорит она.

Я достаю портсигар. Щелк. Смотрю, как ее пальцы берут сигарету, потом на ее губы. Красиво. Ч-черт, не могу избавиться от ощущения, что эти губы целовали многие и многие мужчины… до меня.

Чиркаю спичкой.

— Что это? — она складывает губы трубочкой и выпускает дым. Медленно, глядя мне в глаза.

— Русские папиросы. Хороший сорт.

Бумага не истончается, как в американских сигаретах, а именно горит — неровно, большими кусками. В этой грубости какой-то особый шик. Пепел летит вниз, кружится, падает. Кроваво-красная помада — страсть.

Мне нужно идти.

— Русские? — переспрашивает она.

— Подарок друга. Он уехал.

Идти. Я обещал. Вместо этого я говорю:

— Куда подевался ваш… ээ… компаньон?

Она невозмутимо:

— Мой любовник, хотите сказать? Он спит. Не желаете прокатиться? У меня под окнами мобиль.

Коридор начинает раскачиваться — слова, слова. Забыл, кем ты увлечен, Козмо? Почти. Когда в голове туман, легко потерять направление.

…В изгибе ее шеи — бог. Я не видел…

— Так хотите?

— Нет.

Много лет прошло, а меня до сих пор перед глазами эта картина: девушка в розовом сиянии, уходящая от меня по коридору. Шелковое платье, движение ног под ним… она прекрасна.

…У водолазов есть отличный вопрос: "Дошел ли ты до грунта и хорошо ли тебе там?"

Тушинский дошел до грунта и ему там было хорошо.

Я захожу в комнату, прикрываю за собой дверь — аккуратно, чтобы не разбудить. Поворачиваюсь.

— Зачем вам Ядвига? — говорю я Тушинскому. Он меня не слышит. Бежевая кушетка в широкую синюю полоску. Актер спит, положив голову на подлокотник, ниточка слюны тянется из приоткрытого рта. — Вы ее не любите, Генрих. Я же вижу.

У Тушинского обмякшее бессмысленное лицо. Пустая

оболочка от дирижабля.

Как его можно любить?

— Слушайте, Генрих. Давайте начистоту.

Актер, не просыпаясь, мучительно вздыхает и переворачивается на спину. На лице — красные следы. Начинает похрапывать. От мощного запаха перегара я морщусь. Что тут у нас? Недопитая бутылка шампанского, несколько бокалов. Бутылка из-под джина на ковре — сколько он выпил? В комнате резко пахнет можжевельником и чем-то кислым.

— Будем считать это согласием, — говорю я, подхожу к окну и раздергиваю шторы. За стеклом — ночь, фонари. Несколько светящихся окон в доме напротив. Дальше по улице видны цветные огни витрин и вывеска аптеки. И везде — люди, люди, люди. Гранд-бульвар в это время сонным не назовешь — работают кофейни и артистические клубы, богема Кетополиса танцует, пьет абсент и умирает в зеленом дыму гашиша и опиума.

Вызывает духов.

Столоверчение, гипноз, мистические ордена, социалистические кружки, астрология, черная магия, китовослышащие, анархисты, морфинисты, суфражистки и защитники животных — чего только сейчас нет. Вот и Ядвига туда же — увлеклась спиритизмом. Кого они там вызывают, адмирала Стабба? Хорошо, хоть не Аттилу. И не Великого Кальмара… Впрочем, с них станется.

Душно мне.

Я нахожу шпингалет — крррр. Окно распахивается.

Холодная струя врывается в комнату, шторы бьются фиолетовыми парусами.

Хорошо.

Я придвигаю кресло и сажусь напротив Тушинского.

— Мне двадцать шесть лет, — говорю я. — Я лейтенант броненосного флота Его Величества. Вам все равно, Генрих, а для меня это кое-что значит. — Актер молчит. — Знаете, сейчас удобная ситуация. Я пьян, поэтому скажу все, что думаю. Вы пьяны, поэтому вам придется меня выслушать. Что скажете, Генрих?

…

Тушинский встает.

Вспышка света. Комната опрокидывается.

Я лежу на полу и думаю: вот сукин сын.

Вскакиваю.

Оскорбление второй степени — оскорбление действием!

Это означает одно.

Будет кровь.

— Идите к китам, дорогой мой Козмо, — говорит он абсолютно трезвым голосом. Выпрямляется.

Как его можно любить?

А вот так.

Потому что сейчас этот сукин сын прекрасен. Сын докера, говорите? Да в нем аристократизма на пол-Кетополиса хватит.

Меня трясет от ярости.

Я беру со стола бокал и, не глядя, делаю глоток. Стекло стукается об зубы. Шампанское? Отлично! Пузырьки ударяют в нос — я морщусь.

Тушинский смотрит на меня, выгнув бровь.

Сволочь. Ненавижу.

— Кажется, с ролью мебели вы справлялись лучше, — говорю я охрипшим голосом, — Что теперь? Будем драться на кулаках? К вашему сожалению, я-то не швейцар.

Генрих улыбается.

— Тоже верно.

Я выше ростом и тяжелее, но занимался в детстве чертовой музыкой, а не проклятым боксом. А Тушинский справился со швейцаром.

Я пытаюсь вспомнить, когда в последний раз бил человека. Кажется, в Навигацкой школе. Впрочем, кто тогда не дрался? "Селедки" с "механиками" — вечная война. Честь флота, господа гардемарины, и в зубы — н-на! Будущие офицеры не отступают перед гражданскими…

Легенды гласят, что наши побоища — детские шалости по сравнению с тем, как чудили предыдущие выпуски. Говорят, сам Остенвольф… впрочем, тут легенды, скорее всего, ошибаются.

Он же морпех.

Вообще-то, и нам, и "механикам" повезло, что школы морской пехоты находятся за городской чертой — иначе вряд ли бы кто из нас выжил. Морпехи — страшные люди. Серая дубиноголовая масса, которая умеет только одно — убивать. Иногда мне кажется, что их боевые автоматоны гораздо более человечны, чем они сами.

Тушинский достает бутылку из ведерка. Разливает шампанское по бокалам.

— Выпьете, Козмо? — говорит он, — Напоследок. Прежде чем я размозжу вам голову?

Глаза неестественно блестят. Голос иногда плывет, как на заезженной пластинке.

И тут я понимаю, что происходит. Тушинский *играет* трезвого.

А на самом деле…

Додумать я не успеваю — дверь открывается.

— Вот вы где! — Ядвига замолкает, смотрит на нас по очереди — внимательно. — Так, — она входит в комнату, — Что здесь происходит?

Мы молчим.

— Ничего не было, — говорит она. — Слышите? Ничего. Вы сейчас мне это оба пообещаете.

Ядвига встает между нами. Пользуясь моментом, я вынимаю у Тушинского из пальцев бокал и отступаю на шаг. Движение почти танцевальное. Раз — и готово. Весело.

Актер стеклянеет.

— Генрих, пожалуйста… — она заступает ему дорогу. — Козмо!

Интересно, как меняется её голос. Минуту назад — сама мягкость, сейчас — укротительница тигров. Еще немного — и мне разожмут челюсти стволом револьвера.

Шампанское щекочет небо. Хорошо.

— Вам уже хватит, Генрих. Оставьте мальчика в покое.

Она осекается.

Пауза.

Я с силой швыряю бокал в пол и выхожу.

…Вообще-то, нам обоим было достаточно. В отличие от невменяемого Тушинского, я это прекрасно понимал. Но меня неожиданно взбесило это "мальчик". Если бы меня отвергли, я бы ушел отверженным. Это почетная капитуляция, уходим под барабанный бой, распустив знамена. Но так! Так!

В общем, кровь должна была пролиться.

…Меня трясет. За моей спиной разливается запах шампанского — липкий, сладкий. Просачивается в щель под дверью. Я врываюсь в гостиную и с разгону натыкаюсь на человечка в дешевом партикулярном платье. Черт, он-то откуда взялся? Жидкие светлые волосы. Человечек оборачивается, чтобы возмутиться, открывает рот…

На редкость уродливая рожа. Я говорю:

— Будете моим секундантом?

— Я-я? — "уродливая рожа" еще и заикается. Прекрасно!

— Да.

— Это т-так… я н-не знаю, что сказать…

— Скажите: всегда к вашим услугам, господин Дантон.

Белесые брови поднимаются и опадают.

— Я-я к вашим… — он спохватывается: — Н-но я же н-ничего не знаю!

— Тем лучше. Сейчас я вам все подробно объясню. Вы тонкий человек, вы поймете. Мне нанесли страшное оскорбление, — я

голосом выделяю "страшное". Мне весело, я уже все решил. Человечек покорно кивает. Бедняга. Похоже, он из тех, кто вечно "делает услуги". А ведь молодой совсем. — Кстати, как ваше имя?

— П-по… — он мучительно выгибает брови. — Я-ян П-по…

— Отлично! Так вот, дорогой Ян. Вы любите оперу?

Похоже, это окончательно сбивает его с толку.

— К-конечно.

— А я — нет. Так вот, о деле. Я оскорблен…

В груди у меня вдруг оказывается нечто мертвое. Точно на месте сердца — резиновый кальмар, распустивший вялые щупальца.

— …и желаю драться.

4. Опера

Давайте поговорим о ненависти.

Я ненавижу: Ноты и клавиры.

Ненавижу: либретто и гаммы.

Гремящий рояль в гостиной.

Мужские распевающиеся голоса.

А-а-А-а-А-А-а.

Ненавижу.

Ария клокочущей ненависти для низкого голоса и фортепиано, исполняется в тональности "ре минор".

Еженедельные музыкальные вечера у Дантонов. Отец высокий, сухощавый, в гражданском костюме в тонкую полоску, черный галстук. Встречает гостей. Мама за роялем (белое платье… низкий приятный голос, теперь редко поет сама, часто хворает… жаль, красивая женщина, слышу я голоса), впервые вышла после долгой болезни. Она худая и бледная, играет чуть неловко, механически, часто сбивается — но все вокруг уверяют, что она прекрасна. Да, прекрасна! Увлеченные люди.

А потом они начинают петь…

Я знаю, что вы хотите спросить.

Да, я умею.

— АААА, — я опираю голос на грудь. Он взвивается под потолок, летит вперед, наполненый металлом и обертонами, поддержаный посылом и вибрато. — ДЕЕ-ЛИИИ-ДАААА! — раскатываю я начальную фразу из "Левиафана".

По крайней мере, меня учили.

Воспоминание юности: меня заставляют.

На самом деле я тайно готовлюсь к поступлению в Навигацкую школу — туда принимают с четырнадцати. Под подушкой у меня учебник математики, голова заполнена

уравнениями квадратного корня, в пальцах — сплошная тригонометрия. Я мечтаю быть моряком и совершать подвиги, как Морской Гром (нет, Гром уже — для маленьких!). Как Горацио Хорнблауэр.

А меня знакомят с новым учителем. Маэстро Доменико Туччи.

Где родители брали этих итальянских маэстро? Выписывали по почте? Кетополис все-таки не Европа. Здесь не ткнешь пальцем в первого попавшегося гондольера, чтобы он оказался учителем пения.

У отца был красивый, хотя и слабоватый, тенор. У мамы — драматическое сопрано. А я иногда переходил на такой бас, что люди пугались…

Взросление. Ломка голоса.

Маэстро должен был помочь мне ее пережить. С наименьшими потерями — я ведь будущая звезда. Хотя уже и не красная и не сморщенная — мое упущение, каюсь. К тому времени я уже смотрел на няню сверху вниз. Представлял, как подхожу к ней в морском мундире — суровый и обветренный, со шрамом через левую щеку — встаю на одно колено и дарю букет скромных фиолетовых цветов. Она, конечно… А я… Дальше обычно начинались эротические фантазии. Впрочем, я отвлекся.

Искусство бельканто. Ненавижу!

Маэстро говорит мне: представьте, молодой человек, что у вас пустая голова (надеюсь, труда это не составит?) и медленно, аккуратно направьте звук в свод черепа. Если почувствуете в голове нарастающий звон — значит, вы все делаете правильно. Это включаются верхние резонаторы. Затем вам нужно мысленно соединить вибрации диафрагмы с вибрациями черепа. Тогда начнет звучать все тело.

Главное, повторял маэстро торжественно, пустая голова.

…Похоже, люди оперы так привыкают держать голову пустой, что это отражается на лице.

Я знаю много таких хитростей.

Вот еще одна: настоящий певец поет пятками.

…Только я-то собирался в офицеры. Бедный Туччи. Через пятнадцать минут маэстро начал гоняться за мной с линейкой, крича и ругаясь "кретино" и "идиото". Так мы и бегали вдвоем вокруг рояля, пока на шум не явилась мама.

То есть, учитель из него получился никакой.

Но он был самый интересный.

5. На корабле

Я — человек, прыгнувший со скалы. Мне остается только наслаждаться полетом.

В офицерской кают-компании висит портрет Его королевского Величества Михеля III. В породистых чертах короля застыла неуверенность, словно даже кисть художника не в силах совладать с монаршей мягкостью. Жаль, что здесь нет еще одного портрета — для контраста. Канцлер вообще не любит своих изображений. Но если бы такой портрет нашелся, думаю, это был бы злой, грубый, преувеличенный рисунок дешевой канцелярской тушью. Пятна и чернильные тени. Монопод. Зловещий одержимый гений из бульварных графических романов. К тому же, по слухам, неграмотный.

К чему я это говорю?

Офицеру броненосного флота положено Канцлера не любить, а к Его Величеству относиться с почтением.

Хотя первый — достойный уважения тиран, а второй — медуза. Попробуйте относиться с почтением к чему-нибудь столь же аморфному. Но все-таки у меня во лбу сверкает металлический кальмар — герб королевской династии. Это обязывает. Мы, морские офицеры, служим не личности, а символу…

Я снимаю фуражку и сажусь за стол. На кокарде кальмар холодными железными щупальцами обвивает адмиралтейский якорь.

Кстати, совсем забыл: Первое правило кают-компании — никакой политики.

Это мешает нормальной работе пищеварительной системы.

Часы отбивают три часа ночи. Меня мучает жажда. Я беру металлическую кружку и открываю кран. Пшш, то-то-ток. Плюясь и брызгая, льется горячая вода. Это вода из корабельного опреснителя — "Игефельд" стоит под парами, в ожидании скорого выхода в море. И, значит, все системы работают. Теоретически.

Я делаю глоток. Обжигаюсь — ч-черт.

Вода отдает ржавчиной и машинным маслом.

Когда я допью до конца, на стенках кружки останутся темные разводы.

Капитан первого ранга Зеф Маттиус Нахтигер выходит в сиамском шелковом халате; завязывает пояс, садится в кресло. Тщательно, чтобы ничего не упустить, зевает. На полах темно-зеленой ткани распускаются громадные красные цветы. Кнопка вызова караула — прямо перед ним: латунная, отполированная.

От частого использования, что ли? Только протяни руку. Вместо этого капитан переводит один из рычажков в положение "включено". Ди-дзинь. Нахтигер снимает трубку корабельного телефона — раструб отсвечивает медью:

— Тим, кофе, пожалуйста.

В халате он похож на знатного сиамца, мандарина. Узкоглазые "аристо". Там, у себя на материке, они правили жизнью и смертью, казнили и миловали; здесь работают в киторазделках и прачечных. В клубах пара, с обваренными красными руками — они смотрят на нас из влажной полутьмы. И молчат. Раскосые, ничего не выражающие глаза их загадочно… ужасны?

Сиамцы никогда ничего не забывают. Как слоны.

Капитан поднимает голову и словно видит меня впервые. Молчание. Тихий гул вентиляторов. Тикают часы: тик, ток, тик, ток.

— Господин капитан, — говорю я.

— Я слышал, вы подали жалобу в комиссию адмиралтейства? — Нахтигер закидывает ногу на ногу, поправляет полу халата. — Это правда?

Я смотрю на его качающийся тапочек.

— Вы прекрасно осведомлены, господин капитан.

"От младшего артиллерийского офицера броненосца "Игефельд Магаваленский". Рапорт.

Патроны, имеющиеся к 6-и дюймовым скорострельным пушкам системы Канэ, снаряжены гильзами, из которых часть имеет неплотный обжим, что может привести к попаданию внутрь влаги. При доступе влаги, повышение температуры будет способствовать ускоренному окислению пироксилинового заряда. Так как в боевых погребах для 6-и дюймовых патронов, системы охлаждения (в т. ч. предусмотренные проектом) установлены не были…"

И так далее.

Коротко: боевые погреба, нагреваются, опасны, возможен, взрыв, настаиваю. Дантон.

Причем подал через голову капитана Нахтигера. И через высокую фуражку адмирала Штольца, командующего 1-й эскадрой. Другими словами, если меня придут распинать, я знаю, кто это будет.

Впрочем, сейчас меня волнует это меньше всего.

Дуэль.

— Считаете себя умнее других, лейтенант? — спрашивает Нахтигер.

Я не сразу понимаю, о чем он. Момент растерянности.

— Нет, но… пироксилин…

— Или просто боитесь?

— Господин капитан! — я вскидываю голову, горячая волна упирается под горло. — Прошу вас, аккуратней с выражениями.

— Когда вы успели стать адмиралом, Козмо? — ядовито осведомляется Нахтигер.

Не скоро, если честно. В адмиралах я хожу после Второй Бирманской, значит, стал им… дай кальмар памяти, через двадцать семь лет после описываемых событий. Впрочем, сейчас разговор не об этом…

Появляется Тим, капитанский вестовой. На подносе, на белоснежной салфетке с синим вензелем — серебряный молочник, сахарница, стеклянная вазочка с бисквитами (в лучших традициях английского флота) и кофейные чашки. Числом две. Кофейник, из носика поднимается пар.

— Бирманика, сэр.

…Столько лет прошло, а я до сих пор помню горьковато-пряный, обжигающе-яркий вкус того кофе.

— Контрабанда, разумеется, — поясняет Нахтигер. — Пейте, Козмо, пейте. Наслаждайтесь запретным плодом. Вы заметили, лейтенант, странный парадокс — стоит что-нибудь запретить, как это "что-что" мгновенно становится в несколько раз лучше? Те же сомские бобы…

А теперь — к делу. Вы не для того подняли меня с постели в четыре утра, чтобы поговорить о погоде, верно? Я вас слушаю, лейтенант.

И он с удовольствием повторяет:

— Я вас слушаю.

6. Танго

Наверное, самое страшное ощущение в жизни мужчины — знать, что к одной, определенной женщине ты никогда не сможешь прикоснуться. Чертовы суфражистки правы — мужчина есть животное.

Танго!

— Это танец одиночества и похоти, господа, — говорит Тушинский. — Одиночества и похоти.

Актер встает и делает круг по гостиной. На тот момент он еще не был пьян, а только готовился к переходу в это состояние.

— Непристойный танец. Его танцуют в борделях, — говорит он, словно доверяя нам некую тайну. Я пожимаю плечами. Танец

из публичного дома, кого этим удивишь? Дурной вкус сейчас в моде. — Представьте, — продолжает Тушинский. — Аргентина, Буэнос-Айрес. Ночь, улица, фонарь над входом бросает красные отсветы на мостовую. Посетители танцуют со шлюхами. Или джентльмены из высшего общества… с джентльменами из высшего общества.

В зале раздаются смешки. Затем отдельные хлопки.

Ладно — удивил.

— Я старомоден, — говорит Тушинский. Кто-то скептически хмыкает. — Думаю, сыну докера это позволено? — в зале начинают смеяться. Все знают о его происхождении. Это придает аристократическим манерам Тушинского особый шарм. Как в давние времена — благородный, отважный, прекрасно образованный пират.

И да — сыну докера многое позволено.

Я смотрю на газовый рожок над его головой, желтый отпечаток тает на сетчатке, впаянный в прозрачное стекло. Гений, звучит у меня в ушах. Он, несомненно, гений.

— Поэтому я выбираю… — Тушинский медлит. Актер идет по гостиной, зрители затихают.

Тушинский останавливается перед сидящим в первом ряду человеком в черном фраке. Шеи у человека нет, бабочка лежит прямо на мощной грудной клетке.

Барон Мильс, кажется.

Мильс смотрит на актера исподлобья, с прищуром. По слухам, этот колобок — прекрасный стрелок, президент Общества охотников. Не знаю. Я не большой любитель охоты. Хотя в любом случае Тушинский рискует — не пулю, так отповедь он точно заработает. Барон Мильс еще тот фрукт.

Пауза. Зрители затаили дыхание.

Тушинский делает лицом "увы" и под общий смех разводит руками:

— Некоторые мужчины слишком красивы для меня.

Шут.

Барон багровеет, пыжится — затем не выдерживает и начинает смеяться вместе с остальными. У него на глазах выступают слезы. Прекрасно. Они с Тушинским церемонно раскланиваются.

Но представление еще не закончено.

— И все же… кто это будет? — актер опять начинает кружить. Желтые отсветы на его лице. — Я выбираю…

В этот раз все серьезнее. Круг, еще круг. Напряжение растет. Словно Тушинский с усилием взводит невидимую пружину. Наконец, его взгляд останавливается на Ядвиге. Он делает шаг.

Пауза. Поднимает руку. Пауза. Холодный огонь в глазах, ровный гипнотический голос: — Я выбираю шлюху.

Молчание, подозрительно похожее на гробовое.

Скрип стула.

"Как вы смеете…" — начинает подниматься с места какой-то сообразительный энсин. Голоса. Возмущенный гул набирает обороты.

Ядвига встает.

Голоса обрезает, как ножом.

…Скандалист и насмешник, волокита и пьяница — выходя на сцену, Тушинский совершенно преображался. В этом было нечто мистическое. Больше тридцати лет прошло, а у меня до сих пор озноб по коже.

— Мы начинаем, господа, — актер впечатывает каблуки в паркет. Замирает, опустив руки.

Запускают граммофон. Скрип иглы, шипение пластинки. Раскручиваясь, как пули по нарезам, по латунному раструбу набирают скорость первые аккорды. Скрипка. Ч-черт. У меня замирает в груди от неожиданного: хорошо. Кажется, каждым движением смычок задевает мне сердце. Боль. Продолжает скользить, окрашенный кровью.

Так-так, так-так, так-та-да — вступает аккордеон.

Появляется Ядвига.

Черное платье с разрезом, белые перчатки до локтя.

Тушинский ждет. Кровь.

Обмен взглядами. И нужно ответить: может быть. Ядвига снимает перчатки — одну, другую. Мне больно от этой обжигающей наготы. Словно я вновь на мостике, стучат машины, ревут волны, черный дым закрывает небо… осень. На горизонте — низкие темно-серые силуэты. Фонтан, еще фонтан. "Дистанция шестнадцать с половиной!", докладывают с дальномера. Отлично. Дистанция как раз для шестидюймовых…

Я поворачиваюсь, чтобы отдать приказ — и ветер бросает мне в лицо раскаленную угольную пыль.

Под веками пылает багровым.

ШЛЮХА.

Я смаргиваю и продолжаю смотреть.

…Когда все закончилось, я подошел к Тушинскому.

— Я бы хотел научиться этому… этому танцу.

С минуту, наверное, актер смотрел на меня в упор.

— Киты не летают, дорогой Козмо.

Мне хочется врезать ему от всей души. Чтобы зубы рассыпались по паркету. Я холодно киваю и ухожу.

А завтра я его пристрелю.

7. Страж границы

Пока я рассказываю, Нахтигер молчит, помешивая в чашке серебряной ложечкой. Лицо бесстрастное. Потом он аккуратно кладет ложечку на блюдце — звяк. Я невольно вздрагиваю.

— Вы знаете, что я могу посадить вас под арест, Козмо? Вызову караул, и будете сидеть в своей каюте — причем, что интересно, целый и невредимый.

…Дистанция шестнадцать с по…

— Вы этого не сделаете, — говорю я уверенно — хотя уверенности у меня как раз нет.

— Да? — Нахтигер поднимает брови. — И почему же?

— Потому что вы меня не любите, Зеф. — Капитана передергивает. — Очень просто. Допустим, вы посадите меня под замок — дуэли не будет, верно. Но! Вы спасете не только мою жизнь, — с этим бы вы еще смирились — но и мою честь, господин капитан первого ранга. А это, пожалуй, единственное, чего вам бы не хотелось… Я правильно рассуждаю?

Молчание. Тиканье часов — веское, как удары колокола.

Нахтигер вдруг начинает улыбаться.

— А вы все-таки поразительный наглец, Козмо. Неужели вы считаете, — он наклоняется ко мне, — что это сойдет вам с рук? Затеять поединок накануне Большой Бойни! Вы вообще в своем уме? Или, может быть, вы забыли, что по этому поводу думает господин Канцлер? А? Вам напомнить?

Не стоит.

— Большая Бойня, — цитирую я. — Это та же война.

— Именно! Так что возьмите себя в руки и перестаньте дуться, как обиженный гардемарин. Козмо, — он смотрит на меня в упор. — одумайтесь! Убьете Тушинского в следующий раз.

После Бойни? На которой будет столько крови, что хватит мне на год вперед?

Я вспоминаю огромные черные туши, лежащие в красной воде. Они повсюду, насколько хватает глаз. Жуткая тяжелая вонь крови и мертвечины. Штиль. Океан спокоен. Ежегодное жертвоприношение свершилось.

Сотни. Тысячи мертвых китов.

Большая Бойня — это больше, чем война.

— А теперь послушайте, что по этому поводу думаю я, господин капитан. Дуэль состоится при любой погоде. Даже если мне придется добираться до места дуэли вплавь и стрелять, стоя

по пояс в воде.

Нахтигер свирепеет:

— А если вас убьют? Как я пойду в бой без командира второго плутонга? Вы об этом подумали, дуэлянт вы мой любезный?!

Конечно, подумал.

— Офицера вашего экипажа сочтут трусом. Вы этого хотите, господин капитан?

— Мараться об вашу честь? — Нахтигер поднимает брови. — Увольте.

И все же он пытается.

— Последний шанс, Козмо. Откажитесь от дуэли.

— Не могу. Честь флота, вы ведь понимаете.

Я не хочу, чтобы это прозвучало как издевка, но уже поздно. Именно так оно и прозвучало.

Нахтигер с силой вдавливает кнопку звонка. Лицо серое, над верхней губой выступили капли пота. Пауза. Взяв себя в руки, он говорит:

— А вы, оказывается, редкостный зануда, господин Дантон. Прошу вас оставить меня в покое. Не сочтите за грубость… Да, войдите!

В дверях каюты появляется лейтенант Веселовский, мой давний приятель. Невозмутимый, словно блефующий игрок в покере.

— Вахтенный офицер!

— Слушаю, господин капитан.

— Отправьте… — Нахтигер пытается найти слово, не находит: — этого на берег. Чтобы через пять минут духу его на моем корабле не было! Все, свободны.

— Премного благодарен, господин капитан, — говорю я и салютую.

…Затем было долгое плавание в темноте, скрип уключин, сонные громадины броненосцев, бортовые огни, световые размытые пятна на месте города. В Кетополисе все еще ночь. Едва слышные, искаженные, доносятся звуки ресторанного оркестрика, играющего танцевальные мелодии.

— С чего старик на тебя взъелся?

Я пожимаю плечами.

— Знаешь, Краузе пропал. — Веселовский достает сигарету. Чиииих! Спичка озаряет лицо с тонкими усиками, летит за борт. Чих, гаснет. Дым вырывается из тонких ноздрей. Лейтенант взялся меня проводить, поэтому считает нужным развлекать. — То ли опять взялся за старое, то ли еще что… Приходили его искать с "Леди Кетоники". Говорят, третий день уже не

появляется. Черт знает что, если откровенно… Жаль очень. Ты его не видел?

— Нет, — говорю я.

В отражении покачивается белесый шлюпочный борт.

— Он хороший товарищ.

— Прекрасный.

Шлюпка с тихим плеском разрезает гладь Новой гавани. Весла взлетают и опускаются. Норд-ост гонит мелкую рябь. Матросы дружно вдыхают сырой пар, нагибаются, с усилием тянут весла на себя, снова выдыхают… Раз, и-раз. Холодает. Фонарь на носу закутан в белесый подрагивающий свет. Я провожу ладонью по влажному дереву. Мне не хочется сейчас разговаривать, хотя Веселовский — приятный собеседник, а Краузе…

Просто не хочу.

Почему-то мне кажется, что этот полет над волнами — последний в моей жизни. Чтобы ни случилось дальше, на "Игефельд" я больше не вернусь.

А Краузе мне действительно жаль. Великолепный человек, но что-то в нем сломалось.

Словно в отлаженном часовом механизме — падение, удар, ни царапины, а внутри какая-то пружина соскочила и — все. Часы больше не идут.

Наверное, я скоро умру?

Может быть, даже завтра.

8. Маяк Тенестра

Утро. Низкие серые облака тянутся над океаном.

Упрямый ветер пытается завернуть полы моей шинели. Гонит мелкие белые барашки и разбивает о берег. Зябко. Термометр утром показывал два градуса ниже нуля, барометр обещал, что будет дождь. Не знаю, о чем эти двое договорятся. Может быть, вызовут друг друга на дуэль?

Пар дыхания. Что-то я никак не могу согреться.

— Господа, — начинает распорядитель официальным тоном, — вам известны условия, вы их подписали и одобрили. Я напоминаю, что честь обязывает вас не делать никаких движений до моей команды "начинайте". Точно также вы должны немедленно опустить пистолеты по команде "стой"…

Помедлив, он добавляет — уже от себя:

— Ну, с богом.

— Удачи, Козмо, — говорит Тушинский и улыбается. Это

красивая улыбка. Мне хочется раскрошить ее рукояткой револьвера.

Я делаю шаг назад.

Внутри меня — холод. За все мои обиды должен заплатить Тушинский. Впрочем, почему бы и нет? Он действительно меня ударил, а при оскорблении действием кодекс допускает только один вариант…

Никаких извинений. Никаких рукопожатий. Давайте просто достанем оружие и убьем друг друга.

Смыть кровью — обиду, боль, ревность… зависть, в конце концов. Как его можно любить? Ну как?!

У меня в запасе три выстрела.

…Иногда полезно узнать, насколько ты можешь быть мерзок.

Рядом со мной стоит Ян По, мой вчерашний знакомец. Дальний родственник Эдгара Алана? И крикнул ворон: Невермор.

— Ч-что вы! Ч-что вы! — повторяет Ян, как заведенный. Будет забавно, если мне достался единственный в Кетополисе секундант-истерик.

Старик-доктор, которого зачем-то притащили, смотрит на меня бессмысленным козьим взглядом. Пьян до изумления. Счастливчик.

— Вы готовы, господин лейтенант?

— Тридцать шагов, — говорю я автоматически. Голос совсем сел.

— Что?

— То есть, да… я готов.

Стук мотора. Боковым зрением я вижу, как подъезжает мобиль. Поворачиваю голову. Из машины выходят трое. Синяя форма — двое в беретах и один в высокой фуражке на галлийский манер. Белеют парадные перчатки.

"Швабры" идут сюда. Так называют морпехов на флоте — их обязанность надраить до блеска верхнюю палубу, пока матросы еще спят. Интересно, что им здесь нужно? — думаю я, и тут же забываю об этом. Потому что распорядитель протягивает мне револьвер. Рукоять ледяная.

— Три выстрела, господа.

Просто ледяная. Меня начинает бить дрожь. Кожа прилипла к металлу — и отрывать придется с мясом. С кровью. Чушь полная, Козмо Дантон. И еще — больше всего на свете я боюсь выронить сейчас оружие.

Какая тут к китам "п-поправка на ветер"…

Мы становимся к барьеру. Скорей бы все закончилось.

— Начинайте!

Я не сразу понимаю, что это значит. Поднимаю револьвер.

Опускаю. Рано. Сначала нужно дойти до линии.

Я — морской офицер. Мы принимаем удары судьбы холодно и спокойно.

Наверное, я скоро умру.

Шаг, второй. Я иду — медленно и словно чужими ногами.

Линия качается передо мной. Иду.

Ба-бах!

В первый момент я даже не понимаю, что произошло. Просто резкий хлопок.

Тушинский опускает руку с револьвером и смотрит на меня.

Я продолжаю идти. Барьерная линия. Я едва не заступаю за нее, но вовремя вспоминаю, что надо остановиться. Потом понимаю — в меня только что стреляли.

Нет, не в меня — что странно.

"Противник, выстреливший первым в воздух, в случае, если его противник не ответит на выстрел, считается уклонившимся от дуэли и подвергается законным последствиям такого поступка". Дуэльный кодекс.

То есть, вы уклоняетесь от поединка, Генрих? Я смотрю на серую фигуру Тушинского.

Нет, господин актер, не надо делать мне таких одолжений.

Я поднимаю револьвер. Тщательно прицеливаюсь.

Фигура в сером костюме плавает на мушке.

…Думаете, я не хотел его смерти? Черта с два.

9. Смерть

Давайте поговорим.

Мой давний приятель Краузе, водолазный офицер с "Леди Кетоники", рассказал однажды, как он увидел свою смерть.

Случилось так. Краузе должен был спуститься на дно, метров тридцать глубина, и найти потерянный якорь от буксира. Краузе облачился, проверился, все как полагается, привинтили шлем, продули, начали его спускать. Спустили. Отзвонился он, так, мол, и так, "достиг грунта, и мне тут хорошо"…

А дальше началось странное.

Шланг ему пережало при погружении или, может, газолиновые пары попали в компрессор — но стало тут Краузе вдруг мерещиться. Вроде ничего особенного. Будто стоит он в своем шлеме с решеткой посреди огромной мутной глубины, а вокруг простирается сад мертвых водолазов.

Я смотрю, говорит Краузе, и у меня волосы сквозь металл прорастают. Их человек сорок. В тяжелых медных шлемах, со

шлангами, тянущимися в темноту, в серых костюмах со свинцовыми подошвами. Покрыты с ног до головы водорослями и ракушками. Подводное течение заставляет их медленно колыхаться, как диковинные деревья. Да… человек сорок их… или больше. Все в разных позах. Прожектор светит тускло и размыто.

И тишина.

И тогда Краузе сказал в телефон одно слово. И потом снова это же слово. И так все время говорил, пока его поднимали. А когда на палубу вытащили и шлем сняли — начал это слово кричать. Представляете? Здоровенный мужик сидит на стуле, в водолазном костюме, лицо белое, как простыня, глаза бешеные. Голову вверх задрал так, что на горле жилы вздулись, и орет хриплым голосом: Вы! Вы! Вы! Вы!

"Вытаскивайте".

Краузе потом коньяком отпаивали — так, что чуть было не споили.

А сейчас он пропал.

10. Приговор

Спустя много лет, сидя на веранде, я вспоминаю то мгновение, когда силуэт в сером рединготе попал в прорезь прицела. Моя рука подрагивает — неудивительно после такой ночи — мне кажется, что я ни за что не попаду, а пули Тушинского… две пули… или все три…

И, конечно, я попал.

— Лейтенант Дантон? — у него приятный чистый голос, хотя, кажется, слишком высокий для такого крупного человека. Лет сорока. Темные волосы с проседью. Левая щека была когда-то сильно обожжена — остался шрам. Глаза из-под козырька жесткие, ясные. Голубые. От уголков разбегаются морщинки.

Я говорю:

— Да.

— Полковник Йоргенсон, военная полиция, — он прижимает ладонь к козырьку, бросает вниз. — У меня для вас не слишком приятные новости, лейтенант. — он медлит. — Один вопрос, лейтенант. Дуэль в военное время приравнивается к измене короне. Вы знали об этом. Тогда почему?

Я молчу.

— Что ж, — он вздыхает. — Приказом Канцлера вы приговариваетесь к каторжным работам на срок…

— Мне знакомо ваше лицо, — говорю я внезапно. Оно мне

действительно знакомо. — Натан? У вас, помнится, тенор.

— Простите? — полковник вглядывается в меня уже по-другому, внимательнее. — Да, драматический тенор. Откуда?

И тут он вспоминает. Складка на лбу разглаживается, секунда, собирается вновь.

— Неужели… о, дьявол. Козмо? Вашего отца не Константин зовут, случайно?

— Недолет, перелет, накрытие. Рад вас видеть, Натан. Как ваша семья? Как дети?

Я жду ответа. Я ненавижу оперу.

— Все прекрасно, лейтенант, — говорит морпех медленно. — Спасибо. Здоровье вашего отца лучше? Он помню, все жаловался на геморроидальные боли…

Я против воли улыбаюсь. Папа в своем репертуаре.

— С тех пор, как преставился, не жалуется.

Полковник меняется в лице.

— Эх, мальчик. Как же вы так…

Я хочу его поправить, но в последний момент передумываю и молчу. В конце концов, этот человек знал моего отца.

Йоргенсон говорит:

— Катер отправляется завтра в восемь часов утра с каторжного причала. Старый порт. Козмо… — он вдруг запинается, начинает сначала. — Козмо… дайте мне слово чести, лейтенант, что будете там. На все про все у вас будут сутки. Успеете попрощаться с матерью, с любимой… с друзьями. Мне жаль, но это единственное, что я могу для вас сделать.

С матерью, с любимой женщиной, с друзьями? Навестить кладбище, постоять у закрытой двери, посмотреть с пирса вслед уплывающему "Игефельду" — перевожу я. Ну да, успею. Хорошее предложение, без всякой иронии. Спасибо, Натан.

— Даю слово чести, господин полковник. Завтра в восемь утра я буду на каторжном причале.

— Спасибо, — говорит Натан. Он прикладывает руку к фуражке, и я прикладываю. Так мы стоим довольно долго, глядя друг на друга — а за спиной Йоргенсона переминаются рядовые, ждут, когда офицеры закончат валять дурака, на ветру холодно, морпехи хотят в казармы. Там тепло и нет этого промозглого сырого ветра, вынимающего душу. А морпехам еще наводить глянец к завтрашнему параду. День Большой Бойни, что ж вы хотите.

Впрочем, их могут отправить и к Патройе — воевать с дикарями Остенвольфа.

Странная штука. Остенвольф уже раз пять подходил к Кетополису (правда, впервые настолько близко: от форпоста до

городской черты рукой подать) и столько же раз срывался и уходил обратно вглубь острова, в джунгли. Без всяких видимых причин. Ну, на то он и безумец, чтобы его действия нельзя было объяснить нормальной, человеческой логикой. Или даже тактическими соображениями. В тактике ведь что самое главное? Непредсказуемость…

Именно.

…а не безумие.

Когда-то Остенвольф считался лучшим генералом Кетополиса. Да что тут говорить. Мы восхищались этим человеком. Я восхищался.

…вставить себе в голову беспроводной телеграф для управления автоматонами — это не безумие?

Я достаю карманные часы. Восемь тридцать одна. У меня впереди еще целых двадцать три часа и двадцать девять минут свободы.

Опять смотрю на морпехов.

Наверное, странно воевать с противником, который относится к тебе, как к ходячему складу провианта? Эдакие завернутые в сукно банки с тушеной говядиной…

Боже, о чем я только думаю.

Часы притягивают взгляд. Они тикают в ладони. Я почти физически ощущаю, как сдвигаются стрелки — огромные, металлические, в несколько этажей, с космическим грохотом перескакивают на следующее деление — БУМ и БУМ… Сейчас, в восемь часов тридцать две минуты, Октавио Остенвольф считается выродком и вселенским злом.

А Козмо Дантон еще пять минут назад считался подающим надежды морским офицером.

Теперь я никто.

— Понимаете, Козмо? — полковник смотрит на меня, голубые глаза — боль.

Я все понимаю, Натан.

Нет, не все.

На самом деле я не могу понять следующего.

— Как вы так быстро — с приказом?

— Приказ подписан еще вчера, — говорит полковник нехотя. — Ждали только конца дуэли. Честь флота…

Мне вспоминается почему-то Морской Гром, попавший в заключение на каторжный остров и отвратительный беззубый старик, который рассказал ему про спрятанные сокровища. В конце следующей главы Гром сбежал, конечно — на то он и герой.

И там была одна картинка: старик сидит на берегу, темный согнутый силуэт, глядя вслед уходящей за горизонт лодке, которую смастерил Гром из старых гробов. Старик остался на острове — отвратительный и страшный, у него всегда летела слюна изо рта, когда он шептал "мои сокровища, мои сокровища". Он был когда-то злодеем и убийцей, и заслужил, в отличие от Грома, свою печальную участь. Но помню, мне почему-то было не по себе.

Герой уходил к новым приключениям, а уродливый старик оставался на берегу.

Одинокий и забытый. Навсегда.

Кстати… Я говорю:

— А срок?

— Что — срок? — поворачивается полковник.

— Вы собирались назвать срок, к которому я приговорен.

Молчание.

— Пожизненно. — Йоргенсон смотрит на меня и снова говорит: — Эх, мальчик.

Почему-то сейчас мне совсем не хочется его поправлять.

— Отлично, — говорю я. — Могу я взглянуть на приказ?

Йоргенсон понимающе кивает.

Обычный казенный лист. Не каждый день такое случается — твоя судьба у тебя в руках. Своеобразные ощущения. Как за крышку будущего гроба подержатся. "Лейтенанта броненосного флота… разжаловать… приговорить к каторжным работам… на срок…" — читаю я.

Да. Пожизненно.

Я перевожу взгляд в самый низ листа. И вдруг меня начинает разбирать смех. Смешно, ей-богу. Полковник смотрит на меня, не понимая. А я не могу остановиться.

Вот значит, как бывает. Сам, лично, почтил. А еще говорят, что он неграмотный!

Корявая буква "А" вместо подписи. Хорошо, хоть крест на мне не поставили, господин Канцлер.

Левиафан или Побежденное чудовище

Музыка *С. Фолетти*
Либретто *А. Монтеверди*

Опера в пяти действиях (18 картинах)

Китобой……бас
Левиафан……бас-баритон
Козмо……тенор
Аделида…….сопрано
Судовой Мастер…баритон
Няня……меццо-сопрано
Кок……..бас
Капитан……тенор
1-ый помощник……баритон
2-ий помощник……тенор
Поэт……..тенор

Действие 1, Картина 1: Морская пучина. Подземный грот, разбитые корабли, сундуки с золотом, тела утопленников. Левиафан, морское чудовище, говорит о том, что любит Аделиду, и собирается сегодня признаться ей в этом. Левиафану подпевает хор утопленников.

Картина 2: Плывет корабль. На палубе стоит девушка необыкновенной красоты. Это Аделида, дочь графа Кето. Небольшая, но очень интересная партия Няни. Чтобы добиться девушки, Левиафан подплывает к кораблю, но Аделида пугается вида чудовища. Тогда разгневанный Левиафан устраивает шторм, в котором гибнут Няня, Капитан, 1-ый помощник, 2-ой помощник, Поэт и толстый Кок (великолепная партия для комического баса-буфф). Но Аделида чудом спасается и попадает на остров…

(……..)

Левиафан сшивает себе человеческую личину из погубленных им людей. Превращается в черноволосого зловещего красавца (коронная роль молодой восходящей звезды Шаляпина) и, обманув тем Козмо, проникает во дворец.

(……)

Но предатель Китобой ударяет гарпуном в спину Козмо и сбрасывает Аделиду за борт.

Левиафан увлекает ее за собой в пучину. Но Аделида не может жить под водой, она умирает (ария "Надо мною мили воды"). Левиафан безутешен — он посылает богам проклятье (знаменитая ария "Боги, вы создали мир неправильно").

В это время Козмо приходит на берег, где повстречал когда-то Аделиду. Он пытается забыться. Но боль его не утихает. Тогда в отчаянии Козмо обращается к богам (знаменитая ария "Изыми мое сердце, мою кровь") с мольбой о мести.

Картина 16: Явление богов.

Появляются боги. Они говорят Козмо, что он должен найти Судового Мастера. У Судового Мастера есть Железная Игла. Он

поможет Козмо отомстить.

Картина 17: Козмо находит Судового Мастера. Тот согласен, но при одном условии — что Козмо выдержит и ни разу не застонет, пока он будет шить. Мастер говорит: "Чтобы победить чудовище, нужно самому стать чудовищем". Он пришивает Козмо куски мертвых тел осьминогов, рыб, щупальца морских звезд и самых страшных морских гадов. Козмо молчит. Но потом все-таки не выдерживает. Ария Козмо: "Страдаю! Страдаю! Черной кровью умоюсь…" Судовой Мастер говорит: что же ты наделал, теперь ты не сможешь стать обратно человеком. Так появляется Кальмар.

Картина 18, последняя: Битва Левиафана и Кальмара над телом утонувшей Аделиды. В конце концов Кальмар душит Левиафана своими щупальцами.

Финальная ария Кальмара "Остаюсь в Пучине".

Хор: "Восплачьте о Козмо и Аделиде".

Занавес

Из записок приглашенной оперной звезды (Федор Шаляпин, "Маска и душа: мои сорок лет на театрах", Париж, 1932):

> В телеграмме он предложил мне роль Левиафана в постановке.
>
> У нас эту оперу почему-то редко играют, но в Кетополисе она одна из любимейших. Для дебюта моего там нельзя было желать лучшего.
>
> Мне не хотелось ехать, поэтому я отбил телеграмму, что согласен и прошу 15000 рублей за 10 спектаклей. Я думал, мне откажут, поскольку сумма была невообразимой. Каково же было мое удивление, когда на следующее утро я получил ответную телеграмму. Там было всего одно слово: "Согласен".
>
> Говорят, что нет оперы глупее, чем "Левиафан" Фолетти. Я скажу на это: неправда. Есть.

Продолжение перевода будет

** (-) так я обозначаю выпавшие фрагменты. В книге, что у меня, это места, где текст либретто уничтожен морской водой.*

История инспектора: Прощание с Баклавским

I. Ручей

Кто-то всё время был рядом, и сначала Баклавскому казалось, что это маленькая девочка, любимая внучка Дядюшки Спасибо.

Ей позволялось больше, чем остальным, и она бродила по всем закуткам курильни как симпатичный смешливый призрак.

Баклавский часто заморгал и пошарил руками по подушкам, пытаясь найти куда-то уползший мундштук кальяна.

— Зачем тебе опять курить? — ласково спросила из-за спины Тани Па. Он ощущал на затылке ее легкое дыхание и знал, что она улыбается. — Уже утро, и пора просыпаться.

Баклавский хотел повернуться на другой бок, к ней лицом, но сиамка остановила его мягким прикосновением ладони. Тогда он чуть придвинулся к ней, чтобы почувствовать спиной ее тело.

— Ты смешной, — сказала она. — Никто не верил, что человек с золотыми волосами может так выучить наш язык.

— Иначе мне пришлось бы всегда ходить с переводчиком, — сказал он. — Водить его с собой всюду-всюду, и сажать около постели, чтобы ночью он переводил мне всё, что ты шепчешь.

— Он бы краснел и смущался, — хихикнула Тани Па, — но в темноте этого бы никто не заметил.

Баклавский тоже засмеялся:

— Было бы еще хуже, если б он начинал переспрашивать. Как вы сказали, госпожа Па? Вы не могли бы шептать погромче?

— Да, *Лек-Фом*, ты очень умный и обходительный, спас нас от таких неудобств!

— Не зови меня, пожалуйста, Златовласым. Так говорят те, кто хочет обмануть.

— А таких много?

— Конечно! — Баклавский потянулся, пошевелил пальцами, разгоняя кровь в застывших ступнях. Он привык во сне высовывать ноги из-под одеяла, а под утро стало совсем холодно, и вдоль Ручья веяло стылой морозной сыростью. Где-то совсем поблизости швейной машинкой прострекотала маломощная джонка. — С моей-то должностью… Кто-то врет в глаза, кто-то таит обиду, мечтает о мести, кто-то пытается угрожать.

— У тебя вредная работа, — сказала Тани Па. — Нужно просить духов, чтобы дали тебе другое дело.

— Никого просить не надо. Через пару недель этой работы и так не станет. А никаким другим делом я заниматься не умею.

Рядом неслышно осыпался в воду пепел — догорел смоляной шарик, их на Ручье использовали вместо фонариков. Бронзовые рельсики, оставшись без груза, качнулись вверх, привели в действие спусковой механизм, и новый шарик — гррллл! — начал свое путешествие из глубины курильни. Прокатился над маленьким газовым огоньком, полыхнул, и, набирая скорость, помчался дальше. Так по субботам выскакивают шары из Большого Лототрона. Гррллл! Остановился у заглушки на самом

конце рельсиков, над тёмной водой ручья, и через мгновение засветился ярко и ровно.

— Мой бедный-бедный страж! Ловишь других, а не можешь поймать самого себя… — улыбнулась Тани Па.

Из Нового порта приплыл тягучий рев флагмана броненосной флотилии. Дунул ветер, забравшись в тёплое гнездо, где так уютно спалось.

— Жалко, что ты умерла, — сказал Баклавский, чувствуя как тает, исчезает ощущение ее присутствия.

А остается пустота, перекрученные подушки, погасший кальян, и теплый каркас гнезда. По медным трубкам, царапая изнутри стенки, плывут крохотные пузырьки воздуха, влекомые потоком горячей воды, и этот еле слышный шум — как бесконечный выдох, не воспринимается сознанием, но всё время рядом. И вокруг уже бурлит утренняя жизнь, Ручей торопится работать, торговать, возить, обманывать, ублажать — артерия в сердце Пуэбло-Сиама.

Нежное сонное солнце выползло из утренней дымки прямо над водой, и розовые блики защекотали веки, заставили улыбнуться и чихнуть.

Прямо напротив Баклавского маленькая девочка оседлала широкие перила нависающей над водой веранды. Тихонько напевая по-сиамски, она складывала из большого листа бумаги сложную фигурку.

Увидев, что Баклавский открыл глаза, девочка повернулась и бросила ему на колени бумажного кита.

— Пау! — звонко крикнула она, наверное, пытаясь напугать. — *Таан йо ийи пла*!

Баклавский сел, щурясь на неяркое еще солнце. Кутаясь в одеяло, свесил ноги из гнезда и нащупал ледяные тапочки.

— Май! — позвал он.

— Здесь Чанг, шеф, — ответил другой помощник, брат-близнец Мая, сидящий на перилах, как и девочка. Закутанный в плед, он напоминал разноцветную растрепанную ворону. — Май в доме, у аппарата.

— Звонили из форта?

— Только что. Уже хотел вас будить. Рыбаки возвращаются, все вместе. Хороший признак.

Форт нависал над входом из океана в канал, ведущий к бухте и Новому порту. За счет хороших отношений с военными Баклавский проспал лишний час, вместо того, чтобы в бессмысленном ожидании встречать восход солнца на рыбацких пристанях сиамцев.

— Катер?

— Под парами, — ответил Чанг.

Веранда не предназначалась для обычных посетителей — лишь четыре теплых гнезда располагались здесь, обращенные открытой стороной на восток, против течения Ручья. К каждому вёл свой коридорчик между ширмами, так что гости не могли видеть друг друга.

Баклавский откинул одеяло и остался в длиннополом халате, расшитом пестрыми рыбами и осьминогами. Пытаясь удержать остатки тепла, прошмыгнул с веранды в курильню.

Длинный слабоосвещенный коридор вел в гардеробную, где нужно было переодеться и привести себя в порядок. Наутро после опиума Баклавский всегда чувствовал себя преувеличенно бодро, но знал, что к обеду от этой энергии не останется и следа. И будут мучительно долгие сумерки, одинокий вечер и, вопреки логике, бессонная ночь. После того, как в пламени пожара исчезла Тани Па, ночи стали пугать Баклавского своей безразмерностью, черным омутом, в котором тонешь и не можешь утонуть.

Одна стена коридора щетинилась криво подогнанными бамбуковыми планками, другая лоснилась старым шелком. Затертая плечами, где-то порванная или совсем обесцветившаяся, местами в винных и чайных пятнах, вышивка, как обычно, притягивала взгляд.

Огромный, во всю длину коридора, кит весело плескался в кружевных волнах. По пути на веранду Баклавский всегда рассматривал фонтан, бьющий из китового дыхала. Каждая капелька сначала превращалась в маленького ребенка, а потом во взрослого человечка. Люди разлетались высоким веером, и падали вниз уже седыми старичками. Среди них можно было рассмотреть воинов в блестящих доспехах, круглобоких кормилиц, лысых монахов в оранжевых одеждах, жадных узколицых сборщиков податей и мудрецов с наморщенными лбами.

Сейчас, проходя с веранды в кабинет, Баклавский вдруг разглядел, что бок кита взрезан, и маленький пузатый сиамец, похожий на Будду, расставляет по красным стенкам китовьего нутра плоские ритуальные свечки. Дым от каждой складывался в фигуру животного, цветок или сложный узор сиамских букв.

В хвосте кита, угрожающе вздыбленном над поверхностью воды, полной маленьких рыбацких джонок, торчал гигантский трехзубый гарпун, и от него уходил толстый плетеный трос — прямо под наличник двери.

Баклавский бывал в курильне не так уж и часто, раз в две-три недели, когда совсем заедала тоска. Ему всегда предлагался

именно этот кабинет. По должности он не мог себе позволить уснуть под кальян на коврах общего зала. Кабинетом назывались четырехкомнатные покои, плюс ванная комната, плюс подогреваемое гнездо на веранде, где Баклавский предпочитал спать в любую погоду. Плюс полная конфиденциальность, гарантированная и соблюдаемая хозяином заведения.

— Доброе утро, шеф! — бесстрастноликий Май поднялся из узкого кресла рядом со входными дверями и столиком с телефонным аппаратом. — Дядюшка Кноб Хун надеялся застать вас за завтраком.

В ванной комнате лилась заранее настроенная теплая вода, в титане гудело пламя. Блестел хромом новенький бритвенный прибор. Полотенца пахли экзотическими травами. В запотевшем зеркале Баклавский взглянул на свой мутный контур. Провел по стеклу рукой. Из чистой полоски со сбегающими каплями на него смотрели усталые глаза начальника Досмотровой службы Его Величества старшего инспектора Ежи Баклавского. Одинокого, нелюдимого, неуживчивого, иногда спесивого и надменного, порой изворотливого, но чаще весьма принципиального, слегка полноватого, русоволосого, с выгоревшими от постоянной работы на улице волосами, бровями, ресницами, обронзовевшей кожей, острым и крупным носом, тяжелым двойным подбородком, и постоянным выражением недоверия на лице. Ну что, Лек-Фом, улыбнулся человек в зеркале, повоюем еще?

Безупречно отутюженный черный мундир ждал на вешалке в гардеробе. Нашивки в виде осьминожьих глаз на стойке воротника напоминали круги с крыльев бабочек. Баклавский неторопливо оделся. Втиснулся в тесный китель, секунду подумав, не стал застегиваться под горло, и вышел к столу.

Высокий пожилой сиамец застыл у окна, раздвинув бамбуковые жалюзи. Темный приталенный френч подчеркивал не только идеальную осанку, но и болезненную худобу Дядюшки Спасибо. Эта сторона дома выходила на авениду Лепестков, один из немногих проезжих трактов Пуэбло-Сиама, самого оживленного квартала в Кетополисе. Б?льшая часть улочек оказывалась слишком узка даже для скромной повозки.

— Доброе утро, уважаемый Кноб Хун.

— Доброе утро, досточтимый Ежи! Хорош ли был сон? Ночью так похолодало — я велел слугам укрыть вас вторым одеялом.

Дядюшка Спасибо повернулся к Баклавскому с вежливой полуулыбкой. Вислые редкие усы лишь на треть скрывали длинный рубленый шрам, тянущийся через всю верхнюю губу к левому виску. На скуле, в узкой прорехе несросшейся плоти, тускло блестел металл.

— Благодарю, — улыбнулся Баклавский. — Спал как птенец.

Каждый раз, оказываясь один на один с самым влиятельным сиамцем Кето, Баклавский ощущал себя чуточку факиром. Ядовитая, опасная кобра кажется почти ручной, пока не покажет зубы. О жестокости Дядюшки Кноб Хуна, или Дядюшки Спасибо, как его называли по ту сторону Баллены, ходили мрачные легенды. Мол, у него все ребра из стали, а вместо сердца механическая каракатица. Он видит под землей не хуже подземника. Вместо тростниковых палочек гадает на пальцах поверженных врагов. В полнолуние пьет змеиную кровь…

Баклавский верил тому, что слышал, ровно наполовину. Дядюшке досталось беспокойное хозяйство, сотни семей Пуэбло-Сиама кормились из его рук, многочисленные недруги жаждали растащить по кусочкам дело семьи Хун — курильни, трактиры, прачечные, киторазделки, тотализаторы. Легче было представить в его руках счеты, чем нож или револьвер. Ведь торговля дает денег куда больше, чем война.

— Как там мои шалопаи? — Дядюшка Кноб Хун жестом пригласил Баклавского к столу, где в пиалах дымился рис, радужно светились тончайшие ломтики соленой китятины, разноцветной горкой лежали фрукты. — Хватает ли им ума не выставлять свою бестолковость на всеобщее обозрение?

Сиамцы крайне редко попадали на государственную службу. Три года назад, забирая под своё начало сразу двух племянников Кноб Хуна, Баклавский преследовал абсолютно понятные цели: добиться контроля над сиамской стороной Новой бухты, получить возможность постоянного прямого общения с Дядюшкой, и обезопасить, как бы это возвышенно ни звучало, собственную жизнь.

Всё получилось именно так, как было задумано. Контора досмотровиков в сиамском порту превратилась в оплот правопорядка. Имея за спиной Дядюшку Кноб Хуна, и согласовав с ним устраивающие обе стороны правила игры, Баклавский шагнул в иерархии Пуэбло-Сиама сразу через две ступеньки. И китобои, и торгаши, и обычные рыбаки поняли, что отныне в водах бухты они находятся под зорким оком Лек-Фома.

А мальчишки оказались смышлеными и верными. Оба мигом схватывали премудрости работы, держали рот на замке, и присутствие сиамцев среди патрульных вскоре стало для Баклавского не вынужденным неудобством, а наоборот, привычным и успокаивающим фактом. Он приблизил братьев к себе. Май прекрасно знал море, мастерски управлял любой лодкой, хоть под парусом, хоть с паровой машиной. Чанга интересовали мобили и всё огнестрельное. Он мог за считанные

минуты разобраться в самом сложном механизме, будь то хоть паровой лифт, хоть станковый пулемет.

Работа в Досмотровой службе подразумевала постоянный риск. Этим двум парням Баклавский доверял прикрывать ему спину. Без тени сомнения. А братья были всецело преданы своему шефу. И не хотелось думать, где лежит предел, граница их верности. За какой чертой долг перед семьей, кланом, традициями станет выше личного уважения и принесенной присяги. Баклавский надеялся никогда не заводить их так далеко.

— Чанг и Май — очень достойные молодые люди, господин Кноб Хун! Если их прилежность и упорство не истончится, то со временем мы увидим их на высоких постах на службе Его Величеству.

Сиамец удовлетворенно кивнул:

— Отрадно слышать, Ежи. Мужчины семьи Хун всегда отличались усердием и отвагой. А женщины — изысканными манерами и умением угодить мужчине.

Взглянул коротко, кинжально. Баклавский не успел перехватить его взгляд, лишь почувствовал обжигающее прикосновение. Тани Па была дальней, но все-таки родственницей Дядюшки, и в ней тоже текла кровь Хунов. Запутанные, странные, непредсказуемые отношения Тани Па и Баклавского не остались секретом для мудрого сиамца. Кноб Хун никак не проявлял своей осведомленности, возможно, пытаясь затянуть инспектора в жизнь Пуэбло-Сиама так глубоко, как только возможно, сделать его послушной марионеткой, связать обязательствами перед своей родственницей… Возможно — потому что планы так и остались планами.

Груженая пироксилином джонка без опознавательных знаков пришвартовалась во внутреннем дворике *Хун-та-руэ-а*, гавани Хунов, огромного, но изысканного П-образного здания, стоявшего невдалеке от водопада, в самом красивом месте на Ручье. Ждали даров от китобоев к шестидесятилетию Дядюшки, и даже опознали кормчего, поэтому охранники беспрепятственно пропустили джонку к парадному причалу.

Очевидцы вспоминали, что взрыв раскрыл *Хун-та-руэ-а* как лепестки цветка, вывернул наизнанку сразу во все три стороны. Доски и камни разлетелись на несколько кварталов, а руины здания мгновенно охватил огонь… Этот огонь до сих пор чувствовался во взгляде Кноб Хуна.

— Мне нужен ваш совет, Ежи, — голос Дядюшки изменился — начался деловой разговор. — Много лет назад у меня украли очень дорогую вещь. Не ценную, а именно дорогую моему сердцу. Я истратил на поиски огромные средства, и наконец, взял след.

Теперь мне осталось только пойти и забрать ее.

Баклавский не перебивал, пытаясь понять, к чему клонит Кноб Хун.

— Но беда в том, что вещь ждет меня в очень неудобном месте — там, где Баллена впадает в бухту. Сотни кораблей и лодок бороздят устье днем и ночью. Мне хотелось бы обойтись в этом деле без посторонних глаз. Небольшое содействие Досмотровой службы, пара катеров сопровождения на то время, что понадобится ныряльщикам, очень помогло бы мне — вы ведь не откажетесь помочь, Ежи? Дадите немного *чок-дэ* старому человеку?

Вся социальная жизнь Пуэбло-Сиама строилась на чок-дэ. Хотя это слово на сиамском обозначало удачу, речь шла скорее об услуге. Не всегда нужны деньги, если можно просто попросить. Кто-то принесет тебе удачу в твоем маленьком деле, а однажды и ты сможешь помочь доброму человеку. Вернешь чок-дэ. Услуга за услугу. Чок-дэ не дает счастья, и лучше соблюдать баланс — отдай, сколько взял.

Еще слова Дядюшки означали, что он не предлагает Баклавскому денег — да между ними такого никогда и не случалось. Что может быть проще — подогнать два-три катера на пару часов к устью? И всё же… Баклавский понимал, что нельзя затягивать с ответом на такую пустяковую просьбу, и лихорадочно прокручивал все варианты — ему не понравилось то, о чем говорил Кноб Хун.

— Это важно для меня, Ежи. Нужно забрать вещь как можно скорее, хорошо бы сегодня. В любое удобное для вас время.

— Глубина Баллены там, где она впадает в бухту, очень велика. — Баклавский посмотрел Кноб Хуну в лицо. — Больше сорока метров. Сиамцы — искусные ныряльщики. Если бы они могли донырнуть и найти то, что вы ищете, любезный Кноб Хун, вы не стали бы просить меня о содействии. Вопрос в том, что вы собираетесь организовать погружение водолаза.

Дядюшка Спасибо застыл как статуя. Ни одна морщинка не дрогнула на его лице. Если бы я сейчас сказал "да", подумал Баклавский, то уже не смог бы взять назад свое слово, вне зависимости от любых обстоятельств.

— А поскольку всё водолазное оборудование, — продолжил он, — является собственностью Королевского флота, производится только для военных, не продается на сторону и строжайше учитывается, то вам пришлось купить его не в Кето. Я прав?

Дядюшка через силу улыбнулся и вежливым кивком подтвердил предположение. Спокойствие давалось сиамцу с

трудом. Он расстегнул две верхних пуговицы френча.

— Позволю себе напомнить, господин Хун, — Баклавский отодвинулся от стола и встал. Поднялся и сиамец. — Позволю напомнить, что с Великой Бирмой мы находимся в состоянии войны.

— Ежи…

— Я не знаю и не хочу знать, ввезли вы уже бирманское оборудование в обход портов, или собираетесь сегодня сгрузить его с "Царицы Клео". То, что вы мне предложили, пойди я на такой шаг, расценили бы как государственную измену. Я не ждал от вас подобного, господин Хун.

Сиамец оперся кулаком о стол. Он был невероятно взволнован. Из расстегнутого ворота свесился маленький темный ключик на черном шнурке — Баклавскому даже показалось сначала, что это нательный крест. Ноздри Дядюшки хищно раздувались.

— Мне нужна эта вещь, Ежи! Я добуду ее с вами или без вас. На благо Пуэбло-Сиама и всего Кетополиса! Попади она в чужие руки, случится страшное. Вы очень разборчивы, Ежи, я ценю вашу щепетильность, но это не тот случай! Досмотровая служба исчезнет через считанные дни — если еще раньше Остенвольф со своими дикарями не опрокинет патройский рубеж. Кето на грани хаоса, Ежи! Не цепляйтесь за принципы, помогите мне!

И ведь не врёт, понял Баклавский. По крайней мере, считает свои слова правдой. Но мне нечего ему предложить.

— Извините, что разочаровываю, уважаемый Кноб Хун. Закон есть закон — пока я руковожу Досмотром. До свидания!

И, не дожидаясь ответа, Баклавский направился к дверям.

— Это недолго исправить, — вырвалось у Дядюшки Кноб Хуна.

Баклавский обернулся, и, приподняв бровь, внимательно посмотрел на сиамца. Оба больше не произнесли ни слова. Баклавский вышел в коридор. Молчаливый привратник вернул ему сданную накануне портупею и черную офицерскую шинель. Чанг и Май испуганно заглянули в распахнутые двери кабинета.

— До свидания, дядя Кноб Хун! — поклонился Май.

— Хорошего дня, дядя Кноб Хун! — поклонился Чанг.

Старый сиамец всё так же молча смотрел в спину Баклавскому.

Свежий воздух охладил пылающие щеки. Что за ересь! Какое сокровище может валяться на дне бухты, чтобы ради этого рисковать виселицей? Старик, похоже, тронулся умом. Баклавский спустился по мосткам к урчащему котлом катеру. Чанг и Май, не издавая ни звука, следовали за ним.

— Поторопимся, — сказал Баклавский, чтобы хоть что-нибудь сказать.

II. Сиамские причалы

Мальчишки были взволнованы и обескуражены случившейся ссорой. Но Баклавский не собирался их успокаивать — сами уже взрослые.

— Через шлюз пойдем, — приказал он.

В том месте, где Ручей изгибался крутой дугой в сторону бухты, сиамцы соединили их узким каналом. Он пронырывал под десятком мостов-улиц, что исключало прохождение парусных судов, да и по ширине канал рассчитывался только на юркие джонки и небольшие паровые катера. Минуя сложный фарватер устья Баллены, в которую Ручей впадал выше моста Меридиана, можно было выиграть до двадцати минут на пути к сиамским причалам и киторазделкам, занимавшим весь южный берег Новой бухты.

Пропустив идущий встречным курсом сухогруз — ярко раскрашенную низкобортную посудину с драконьей головой, — Май повернул в сторону двух колонн в виде золоченых китовых хвостов.

Вход в канал перегораживала якорная цепь. Сбавив ход, катер уперся в нее носом. Сверху, от корявой будочки, прилепившейся к стене углового дома наподобие ласточкиного гнезда, заскользила к рулевому желтая металлическая рука. Изгибаясь паучьими суставами, она замерла открытой ладонью прямо перед Маем. Тот положил в нее несколько монет, и с едва слышным звуком хорошо смазанного маслом металла пальцы сжались.

Сиамцы всегда придавали значение мелочам. Баклавский проводил взглядом латунную длань, уплывающую к будочке шлюзовщика — пухлые женственные фаланги, аккуратные овальные ногти, морщинки на сгибах суставов. Наверное, вблизи можно разглядеть папиллярный рисунок на кончиках пальцев.

Цепь, натянутая от берега до берега, скользнула вниз, пустив по воде гирлянду кругов. Пыхнув черной сажей, катер двинулся в створ шлюза. Разница в уровне воды сейчас составляла почти два метра. За кормой бесшумно начали сходиться створки, отрезая катер от Ручья.

— Шеф, — сказал Чанг, — а пока мы в шлюзе, можно я добегу до Подводного Бога?

Баклавский пожал плечами, что означало "не возражаю". И вдруг неожиданно для самого себя спросил:

— Если я пойду с тобой, это не нарушит какой-нибудь традиции?

— Тоже хотите совета? — поинтересовался Май, аккуратно подводя правый борт к прогнившим мосткам.

— Просто никогда там не был.

Баклавский вслед за Чангом вылез на шаткий настил. Створки сошлись, и тут же вода под катером начала убывать.

По хлипким мосткам они перебрались на кирпичный парапет шлюза. Сразу за ним в двух огромных ваннах монотонно били хвостами тягловые дельфины, приводя в действие механику створа. Медные пластины, закрывающие головы животных, крепились намертво к решеткам, через которые в ванны втекала вода. Каждое движение хвоста ускоряло огромный маховик — сердце шлюза.

Чанг двигался бесшумно, по-кошачьи, Баклавский же то и дело терял равновесие, делал лишние шаги, доски хлопали под ногами, кирпичная крошка ссыпалась в канал. По другую сторону сливного створа, уже высоко над водой, они прошли до опоры моста и спустились вниз по кривоступой винтовой лесенке.

Под мостом царила вечная ночь. Душный и кислый запах сгоревшего газолина, угля, мазута въелся в черные камни, стен не хотелось касаться. Звуки сверху, с авениды Дельфинов, парадной улицы Пуэбло-Сиама, приходили сюда искаженными до неузнаваемости. Стук подошв превращался в едва слышное капание воды, проехавший автомобиль пробуждал рокот горного обвала, а деревянные колеса торговых тележек, катящиеся по брусчатке, издавали цокот клавиш пишущей машинки. Эхо собственных шагов возвращалось выстрелами.

В самой середине тоннеля у того берега, по которому шли Чанг и Баклавский, светилась вода. Вечные спички размером с руку окружали золоченую тушу кита метров трех длиной, подсвечивая ее со всех сторон. Носом кит почти упирался в парапет. На его торчащей из воды спине стояла маленькая статуэтка Подводного Будды. Бог безмятежно улыбался, сложив руки на круглом животике. Огни с глубины окрашивали Будду в странные перевернутые тени. Там, где горели спички, столбы воздушных пузырьков упирались в поверхность воды с тихим журчанием.

— Будете? — спросил Чанг, выгребая из кармана мелочь.

— Нет, посмотрю, — ответил Баклавский.

Чанг встал на одно колено и протянул руку к китовой спине. Монетка скользнула в прорезь дыхала и, звякнув, исчезла в

утробе животного. Где-то под ногами заворочались тяжелые шестерни, задребезжали колокольчики. Чанг поднялся и обернулся. Еще один Будда, золотой барельеф в человеческий рост, располагался на опоре моста, напротив кита.

Чанг положил ладонь богу на живот, прикрыл глаза, и замер. Баклавский почувствовал себя неудобно. Лязги и звоны стихли. Из узкой щели в губах настенного Будды показался бумажный язычок. Чанг вытянул записку и, расправив ее, повернул к свету, идущему от воды. Баклавский сделал шаг в сторону, чтобы не мешать помощнику.

— Но вы же хотели посмотреть? — переспросил Чанг, и протянул записку.

— Боюсь, что не разберу по-сиамски в такой темноте.

Чанг бесстрастно прочел:

— "Когда к волку крадется шакал,
Бумажный меч надежней стали,
Но в нем нет твоего отраженья"

— Для тебя это что-то значит? — недоуменно пожал плечами Баклавский. — Такие предсказания может дать любая гадалка.

Чанг аккуратно скрутил бумажку в трубочку и убрал в карман.

— В этих словах много важных новостей, шеф. Только надо правильно их прочесть и понять.

Они прошли по узкому приступку чуть дальше, почти до конца тоннеля, откуда их мог бы подобрать катер. Помощник сделался неразговорчив — абракадабра из уст Подводного Будды погрузила Чанга в мрачные раздумья. А может быть, Баклавский задел его своим недоверием. А может быть, дело в дяде.

Когда Май, подведя борт прямо им под ноги, вопросительно посмотрел на Чанга, тот лишь отрицательно помотал головой. Возишься с ними, подумал Баклавский, нянчишь с пеленок, учишь работе, суешь во всякие переделки, всегда локоть к локтю, а ведь не знаешь и десятой доли того, что у них внутри. Что у одного, а что у другого. Братья стояли рядом, Май у штурвала, Чанг — держась за невысокий бортик. Одинаковые затылки, одинаковые позы. Пока не взглянешь в лицо — не различишь.

Ближе к гавани запах паленого жира становился непереносимым. Густой смрад стлался по воде и полз по улочкам Пуэбло-Сиама, не смущая местных жителей, рождающихся и умирающих с ним.

Кит — это еда, невкусная, но сытная. Кит — это кожа,

плотная, крепкая, красивая, складной верх для паровых колясок, обтяжка кресел и диванов, тяжелые темно-красные куртки и пальто, сотни разновидностей ремней и упряжи. Кит — это ус для корсетов, жилы для аэростатов и дирижаблей, кость для статуэток, трубок, шахматных фигур и прочей красоты. Но прежде всего, кит — это жир. Топливо для светильников и смазка — смазка! — для любых механизмов, чей век вступает в свои права.

Неприметный катер вышел из канала на открытую воду. Раз в два месяца Баклавский отправлял его в доки, где не болтающие лишнего мастера переделывали надстройки, подбирали новые краски, меняли имя. Только так можно было обеспечить внезапность, когда речь шла о рейдах-сюрпризах.

Но сейчас этого не требовалось. У рыбацких причалов уже покачивался на легкой волне черный паровой шлюп Досмотровой службы. Два десятка баркасов борт к борту прижались к пирсу, и разгрузка шла одновременно с проверкой. Черные фигуры "кротов" — так за глаза называли досмотровиков, — мелькали там и тут.

Чанг легко выпрыгнул на пирс, принял поспешный доклад от старшего патрульного, и устремился вперед, не дожидаясь Баклавского. Рутинная процедура проделывалась такое количество раз, что можно было бы досматривать пропахшие рыбой развалюхи даже с закрытыми глазами.

Только у одного баркаса царила непривычная нервная суета. Из щели между потолком трюма и палубой патрульные деловито вытаскивали одну за другой легкие яркие коробки.

— Что там? — спросил Баклавский у спускающегося по трапу патрульного.

— Галлийский шёлк! — весело ответил тот. — Чулки кружевные, с резинками вот тут… — видимо, пытаясь показать, где именно — с резинками, патрульный закачался и чуть не улетел в воду. — Придумают же! — и, похохатывая, пошел дальше.

Хозяин лодки метался между трапом и растущей горой коробок в полном отчаянии.

— Твой товар? — остановил его Баклавский.

— *Пом майчао джай!* — заверещал сиамец, пуча глаза и отчаянно размахивая руками.

— Не понимаешь? — по-сиамски переспросил Баклавский. — Если не хочешь разговаривать, придется отнять твою лодку, посадить тебя в тюрьму, а твой дом продать другим рыбакам, которые понимают, когда с ними хотят поговорить.

— Нет, начальник, я плохо говорить, но всё понимать, всё! — быстро согласился рыбак. — Большая семья, животов кормить —

надо *нгерн*, много *нгерн*, хотел один раз… Больше не буду…

— Будешь, — с сожалением сказал Баклавский. — Куда ж ты денешься, обязательно будешь. Ну-ка, иди за мной.

Они обошли контрабандное разноцветье.

Для верности Баклавский снова заговорил по-сиамски:

— Запомни, рыбак. Если ты помимо рыбы везешь товар… Любой товар… Ты приходишь в мою контору и говоришь, *что* привез и сколько. Там решим, какую часть надо показать таможне, а в таможне скажут, сколько заплатить пошлины. Если ты хочешь не платить ничего, то скоро окажешься в тюрьме по-настоящему. Понятно?

Рыбак старательно кивал, будто его кивки помогали инспектору выталкивать изо рта сложные звуки чужого языка.

— И еще. Если тебе когда-нибудь предложат доставить в Кето сомские синие бобы, то ответь, что ты не сумасшедший, потому что каждую лодку, каждый катер досматривает сам Лек-Фом, старший инспектор Его Величества Ежи Баклавский. Запомнил?

— Да, да, господин начальник!

— В этот раз предъявишь треть, а дальше видно будет. Тебе надо жить, но и государству тоже. Попробуешь обмануть меня — останешься и без товара и без лодки. И еще. Сегодня от меня к тебе пришла *чок-дэ*. Если однажды мне понадобится твоя помощь, не отказывай, иначе *чок-дэ* отвернется от тебя навсегда. Иди. Не прощаюсь.

Рыбак, радостно поклонившись, засеменил назад к трапу, а Баклавский направился к самой дальней джонке, где досмотром руководил Чанг.

— Эта последняя?

Помощник кивнул.

— И где же бобы?

Чанг развел руками:

— Видимо, не здесь, шеф. Надо ловить на Стаббовых пристанях.

Баклавский насупился:

— "Царица Клео" дрейфует к югу от Кето. Каждый раз, как эта посудина оказывается в наших водах, рынок наполняется бобами под завязку. А сейчас, в канун Бойни, спрос возрастает десятикратно. Просто не верю, что никто из сиамцев не позарился — слишком серьезный *нгерн*.

— Утопить бы ее к чертям собачьим… — грустно сказал помощник.

Баклавский улыбнулся:

— Дня через три "Клео" чин по чину войдет в порт, начнет торговлю. Всё в твоих руках.

— Возвращаемся в контору, шеф?

— Да, сейчас… — Баклавский еще раз обвел взглядом бухту.

Бесконечные причалы сиамцев перетекали в кривые переулочки и подворотни. Не поймать контрабанду здесь, на границе воды и суши, значит, потерять всякий шанс.

— А по пути они не могли где-нибудь швартануться по-быстрому, а?

— А где бы? — удивился Чанг. — Все сразу к причалам, как обычно. Ра Манг только китенка на разделку закинул, и тоже сюда. Все доложились, товар предъявили. Парфюмерия, пластинки, белье, опиум, чай. Всё как всегда.

— А Ра Манг, кстати, что привез?

— Сегодня пустой. Говорит, пока загарпунили, пока убили, пока на поплавки вытащили, ночь и прошла. Даже без рыбы почти. Злой ушел, сердитый. Минут пять как.

Баклавский, прищурившись, посмотрел на запад, где в утренних лучах солнца растекался жирный черный дым из труб киторазделок. По воде как раз с той стороны долетел ржавый скрежещущий звук.

— Стапель заработал, — уверенно сказал Чанг.

— Быстро. — Баклавский сглотнул загустевшую слюну. — Возьми восьмерых — перекрой дорогу к разделкам и двигайся по ней. Все встречные экипажи тормозить и проверять. Жестко. Мая с катером — сюда, и пусть тоже возьмет людей. Понадежней.

Чанг кивнул и исчез.

Через минуту паровой шлюп Досмотровой службы с хищной горгульей счетверенного пулемета на носу взрыл воду винтами, и по прямой устремился к киторазделке.

Стапели для подъема китов сиамцы ставят на глубину, чтобы рыбацкий баркас мог войти в ангар, оставить буксируемую тушу над опущенными в воду захватами, и, двигаясь вперед, снова оказаться на открытой воде. К берегу от киторазделки ведут не хлипкие мостки, а серьезная конструкция, способная выдержать *вес*. По мосту идут рельсы, соединяющие каждый ангар с Китовым рынком. Там огромные пласты мяса рубятся на части, удобные к перевозке — и оптовики сбывают китятину ресторанам и консервным фабрикам, амбру — парфюмерам, ус — портным, железы — фармацевтам… Киторазделки Пуэбло-Сиама отличались от дряхлеющих китобоен Стаббовых пристаней сильнее, чем современный локомотив от прогулочной коляски.

При появлении досмотровиков полтора десятка рабочих бросились прочь, что, впрочем, для здешних мест считалось естественным поведением. Спотыкаясь на шпалах, юркие сиамцы

проскакивали по широкому короткому мосту, прямо мимо носа швартующегося катера. Только рябой подслеповатый мясник в кожаном фартуке спокойно вышел навстречу.

— Доброго дня, господин начальник! А мои внуки уж подумали, что начался бирманский десант!

— Следи за берегом, — негромко напомнил Маю Баклавский, и первым выбрался на причал.

— Веди, — сказал мяснику, — хотим на улов взглянуть.

Тот удивленно-безразлично пожал плечами, и открыл узкую дверь в кованых грузовых воротах.

Метров восьми от головы до хвоста, китенок-горбач смотрелся на огромном стапеле как кофейная чашка в глубокой тарелке. Механизм был рассчитан на взрослых гигантов, пальцы подъемника поднимались с шестиметровой глубины. От стапеля по потолку разбегались в разные стороны тельферы, вдоль подъемника шли два дополнительных рельса, по которым можно было подвести кран-балку. В углу тяжело гудел высоченный промышленный котел, питавший пневматику всей киторазделки. Столько подъемной техники Баклавский видел только на броненосных верфях за маяком Фло.

Пятеро досмотровиков вмиг проверили подсобки, коридоры, складские помещения. Пусто. Баклавский огляделся внимательно и оценивающе. Он всегда прислушивался к своей интуиции, а сейчас колокольчик тревоги звенел как на пожаре. Хозяин старался выглядеть невозмутимым, но получалось это лишь отчасти.

Баклавский вспрыгнул на помост — пальцы стапеля в верхней позиции превращались в разделочный стол — и обошел по кругу темно-сизую блестящую тушу. Под помост уже были заведены сливные ванны для крови и жира. Острозубая шестеренка паровой пилы свисала с тельфера.

Снова и снова Баклавский обошел тело китенка, пока не увидел то, что хотел. Брюхо животного уже было разрезано — и сшито темным шпагатом. Края двухметрового шва покрывал толстый слой жира, почти идеально маскируя разрез. Почти.

Баклавский просунул руку в локтевые ремни, сжал пальцы на рукояти пилы. Мясник дернулся, но патрульные недвусмысленно направили ему в грудь стволы карабинов.

— Что, уважаемый, кита, по старинке, прямо в океане потрошили? — Баклавский разобрался, как запускается механизм, и блестящий диск начал быстро набирать обороты.

Сиамец сделал два шага назад, к стене, и патрульные не уследили за его движением. Рука мясника дотянулась до лакированной коробочки пульта рядом с воротами, и

оглушительный ревун разнес на всю гавань и половину Пуэбло-Сиама весть о том, что на киторазделке не всё в порядке. Патрульные оттащили мясника в сторону, и, свалив на пол, защелкнули ему за спиной наручники. Сирена выла еще добрых полминуты, пока не разобрались, как ее отключить.

Баклавский осторожно развернул бешено вращающийся диск вдоль шва, и опустил пилу вниз. Стяжки на китовом брюхе лопались со звуком басовых струн. Тяжелая плоть расползалась под собственным весом, обнажая жесткий, пропитанный кровью брезент.

— Ты не жилец! — оторвав щеку от жирной напольной плитки, выкрикнул мясник. — Уйди, пока еще не поздно, и уведи людей. Вам никто не даст забрать…

Увесистый пинок от одного из патрульных прервал его монолог.

Из инструмента, висящего на опоре стапеля, Баклавский выбрал самую подходящую штуковину — названия всех этих китобойских железок он запомнить никак не мог, — острый крюк на длинной ручке, и подцепил им край брезента.

— За что люблю сиамцев, — сказал Баклавский, обращаясь в большей степени к своим подчиненным, — так это за умение угрожать в самых неожиданных ситуациях. Вы расскажете нам, любезный, кто же так фаршировал несчастное животное?

Мясник что-то прорычал, и закономерно получил сапогом в бок от патрульного, знакомого с основными сиамскими ругательствами.

Под брезентом обнаружились десятки тугих продолговатых мешков. Расплывчатый штамп на каждом гласил, что к их изготовлению имеет непосредственное отношение товарищество "Сома Ривер Ресурс". Один из верхних мешков оказался слегка надорван, и крупные глянцевые бобы, переливаясь голубым и синим, драгоценными камушками скатывались по китовому боку под ноги Баклавскому и, через щели между пальцами стапеля с глухим звоном падали в сливную ванну.

— Кноб Хун разрежет тебе живот, — не унимался мясник, — и зашьет в него двух вивисекторских крыс! Ты увидишь их только когда они вылезут из твоего поганого рта!

— Кислоту, — сказал Баклавский патрульным, высвобождая руку из пилы.

А сам спустился к мяснику, сел рядом на корточки.

— Не думаю, чтобы досточтимый Кноб Хун когда-нибудь приторговывал сомскими бобами. Он умный и деловой человек. Дядюшке Кноб Хуну очень не понравилось бы, что какой-то киторез осмеливается возводить на него напраслину.

Четверых патрульных, надевших респираторы и защитные очки, можно было принять за подземников. Они с трудом втащили в ангар пятидесятилитровую бутыль из толстого химического стекла. Увидев кислоту, мясник заверещал и закричал что-то нечленораздельное.

— Каждого, каждого из вас, — Баклавский сгреб его за воротник, — я предупреждал лично — никаких бобов в моём порту. Ты сам накликал беду.

Пока досмотровики опорожняли мешки в сливную ванну, заполняли ее проточной водой так, чтобы ни один боб не остался сухим, пока кислота с шипением и бульканьем выплескивалась в эту взвесь, а синие шарики лопались, обнажая белоснежное нутро, и тут же серели, чернели, превращались в слизь, Баклавский стоял у открытой боковой стены ангара и смотрел на Кетополис.

Хрустальная башня дрожала светящимся столпом в утреннем воздухе. У верхней мачты, почти прячущейся в пробегающих облаках, можно было разглядеть темное пятно дирижабля. Острова в устье Баллены, разделяющей Пуэбло-Сиам и остальной город, тонули в сизой угольной дымке. Черная ниточка моста Меридиана скорее угадывалась, чем виднелась на самом деле.

На авениде Дельфинов уже начали запускать фейерверки, треск и взрывы слились в постоянный хруст, будто кто-то за горизонтом мял вощеную бумагу. Улыбчивые сиамцы сейчас торопятся выйти на улицу, всюду гомон и приветственные крики, разноцветные киты на длинных шестах плывут над крышами домов, и Будда улыбается своим подданным в ответ, словно намекая, что всё будет хорошо.

На мгновение показалось, что в рокот праздника вплелись выстрелы. Впрочем, вряд ли кто-то сюда сунется — год назад пришлось продемонстрировать, что такое счетверенный пулемет, с тех пор любопытных не находилось.

Встревоженные чайки метались над гаванью, вырисовывая странные ломаные фигуры, похожие на сиамские буквы.

Конечно, Кноб Хун, думал Баклавский. На этом берегу Дядюшка так или иначе стоит абсолютно за всем, за каждой заработанной кроной, за каждой жизнью и каждой смертью.

Но разве это что-то меняет?

III. Новый порт

Новый порт, неудержимо разрастающийся, пускающий в бухту всё новые метастазы-пирсы, с воды казался стеной из кораблей. Левее, под щербатыми склонами Монте-Боки, хмурились серые борта броненосцев, справа, в мутной дымке, зависшей над устьем Баллены, создавали суету речные трамвайчики, шлюпы, яхты и прочая мелочь, а прямо по курсу возвышались гордые обводы торговых парусников — темное дерево, золотые буквы имен, лес мачт.

Катер Баклавского в несколько галсов пробрался к отдельному пустому причальчику, закрепленному за Досмотровой службой.

Одинокий офицер застыл у поручней. Долгополая морская шинель смотрелась на плотной фигуре немного кургузо. Ветер налетал порывами, и одной рукой офицер придерживал фуражку, а другой — как-то по-дамски придерживал пСлы шинели, не давая им распахиваться. Немного комичный, но такой домашний, в доску свой Савиш. Баклавский был рад видеть своего помощника и заместителя, хотя его появление и стало сюрпризом — тот заведовал конторой Досмотра на Стаббовых пристанях.

Савиш не выглядел моложе шефа из-за ранней седины, хотя ему едва исполнилось тридцать семь. Свои внешние недостатки он умело направлял во благо, и слыл одним из главных кетополийских ловеласов. Впрочем, смертоубийственный шарм и невероятно развитое умение договариваться использовалось им не только в амурных делах, и Баклавский часто засылал помощника туда, где сам не смог проломиться напрямую.

Когда Баклавский поднялся на причал, Савиш уверенно взял его за локоть и потянул в сторону конторы. Заговорил быстро и негромко, чуть склоняя голову к уху старшего инспектора.

— Кажется, снова пришло письмо. Если так, то игнорировать уже нельзя. Это какая-то провокация, нам нельзя просто отмалчиваться. Ежи, давай сообщим в контрразведку…

Баклавский молча протянул руку. Савиш вложил ему в ладонь холодный латунный патрон пневмопочты класса "лично в руки". Отвинтив пробку с торца цилиндра, — она характерно хрустнула, подтверждая, что патрон еще не был распечатан, — Баклавский взглянул на номер отправителя. Судя по первым двум цифрам, письмо отправили откуда-то с восточных окраин.

— Как на пристанях?

— Без эксцессов, — сказал Савиш. — Галлийский шёлк,

кёльнская вода — ничего сверхъестественного. "Клео", мне кажется, уже почти разгрузилась.

— А мы накрыли бобы, — не без гордости сообщил Баклавский.

— Ух ты! Много?

— Пару тонн.

Савиш присвистнул. Баклавский выудил пальцем из цилиндра свернутое в трубочку письмо — стандартный узкий и длинный листок формата "пневма". Развернул тонкую хрустящую бумагу.

> "Дорогой Ежи, лес ощетинился ветками. Патройские смертники лишь длят агонию. Очищение застанет нас на руинах Хрустальной башни. Ты справился с Сиамом — подчинишь и моих новых друзей. В мире было бы грустно без тебя.
>
> Искренне и отчаянно,
>
> Твой О.О."

Баклавский поймал заинтересованный взгляд помощника.

— Чуть позже, — сказал он Савишу и сунул письмо в карман, видя, что от дверей конторы к ним спешит незнакомый смуглый офицер в мышино-сером мундире.

— Господин инспектор, — издалека загнусавил таможенник.

— Старший инспектор, — поправил его Баклавский. — Слушаю вас, господин майор. И давайте без чинов, не на плацу. — Протянул руку. — Баклавский.

— Ривейра. Я по поводу любековских контейнеров. Можете, как сосед соседу, объяснить, что происходит?

Савиш изменился в лице и тихо отдрейфовал в сторону.

— А что-то происходит? — уточнил Баклавский. — Обычная процедура — Досмотровая служба по своему усмотрению проверяет грузы, входящие или покидающие порт. Торговый дом "Любек и сыновья" — один из наших основных подопечных. Что вас волнует?

— Все обеспокоены, — сказал таможенник. — В Ганайский копях взрывом метана искорежило несколько жужелиц, добыча угля почти остановлена. Техника нужна как воздух, а вы тормозите отправку. Груз срочный, идет под пломбой Канцлера. Зачем устраивать волокиту?

— Думаете, Канцлер лично пломбировал ящики? — улыбаясь, спросил Баклавский. Он всегда улыбался, когда злился, а сейчас был просто взбешен.

Никаких разумных доводов задерживать двенадцать тяжелых морских контейнеров, принадлежащих главному торговому дому

города, у него не было. Только чутьё, знаменитое лисье чутьё, сделавшее его начальником Досмотровой службы. С грузом что-то не так, но из-за пломб Одноногого контейнеры нельзя вскрыть. Из допустимых трех суток на проверку уже шли последние, а ответа из Дворца так и не было. Ни положительного, ни отрицательного, никакого.

Всё это типично, так типично для Его Величества, думал Баклавский. Немудрено, что практик и прагматик Канцлер давным-давно подмял под себя всю власть — государство не терпит пустоты, а королю откровенно плевать на собственные обязанности. Скорее всего, он даже не подозревает, что они у него есть.

— Не надо шутить, Баклавский… — выскочка из центральной таможни сразу включил увещевающие интонации, так разговаривают с непослушными детьми и капризными больными. — Разрешения на досмотр у вас нет, и не будет. Любековский сухогруз под парами, так зачем ссориться со всеми? Соблюсти букву?

Интересно, подумал Баклавский, а когда мою службу вольют в таможенное управление, мне с этой крысой еще и работать придется вместе? Увольте! Всё катится киту под хвост…

— А вот еще занимательный вопрос, — сказал он. — Горное, как вы мне напомнили, оборудование следует из Кетополиса в Ганайские копи. Чисто внутренняя перевозка. Так кто же вас, любезный Ривейра, уполномочил просить досмотровиков за этот груз? Может быть, мне побеседовать сразу с этим человеком?

— Баклавский… Мы же делаем общее дело. Сейчас непростое время, там бирманцы, тут сумасшедший генерал, в городе неспокойно… И если уж на этих чертовых ящиках оказались пломбы самого Канцлера…

— Милейший Ривейра! — Баклавскому в чем-то было жаль незадачливого служаку. Неужели не могли кого-нибудь поиезуитистей прислать? — Не знаю, кому сейчас присягают в вашем ведомстве. Но я руковожу Досмотровой службой Его Величества, и ответ за свои решения держу во Дворце. Передайте, пожалуйста, тому, кто послал вас ко мне, следующее. Будь у меня на каплю больше уверенности в том, что эти контейнеры надо открыть, я уже трижды наплевал бы на все пломбы. Если там внутри не совсем то, что написано в накладной, у Любеков будут серьезные проблемы.

Ривейра молча развернулся и с деревянной спиной направился по набережной в сторону таможенного управления.

— Не беспокойтесь, господин майор, — крикнул ему вслед Баклавский. — Если до четырех часов я не получу разрешения на

досмотр, то груз немедленно покинет порт. Ни минуты задержки!

Ривейра остановился.

— Не беспокойтесь, господин инспектор, — язвительно крикнул он в ответ. — Когда Досмотр, наконец, переподчинят, мы с вами еще раз обсудим, как правильнее реагировать на просьбы коллег.

Баклавский быстрым шагом направился к администрации порта — длинному приземистому зданию мрачно-серого цвета. В помещения Досмотровой службы вел отдельный вход с торца. Взлетел по короткой лесенке, кивнул козырнувшему патрульному на входе, повернул во внутренний коридор.

— Может, не надо было так? — спросил Савиш, едва поспевая следом и утирая платком лоб. — Зачем ссориться с Зигфридом? Что они могут вести в Ганай? Деталь "А" вместо детали "Бэ"? Какое нам до этого дело?

— Не знаю, дружище. Просто хочу досмотреть хоть один контейнер и убедиться, что мне всё почудилось.

— А что с письмом? — спросил Савиш. — Опять сделаем вид, что не получали? Кончится тем, что нас обвинят в шпионаже.

В его словах был резон. И так желтые газетенки раскопали, что Баклавский учился с мятежным генералом в одном классе — будто там не было других учеников, и происходило это вчера, а не тридцать лет назад. То и дело в передовицах мусолили, на кого делает ставку Остенвольф, кого он привлечет на свою сторону, если прорвет оборону Патройи — забывая, что поступки генерала давно уже вышли за рамки нормальности и предсказуемости.

— Есть, чем писать? — спросил Баклавский, распахивая дверь в свой кабинет.

Савиш протянул ему вечное перо.

— Подожди, пожалуйста, в патрульной, — сказал Баклавский изменившимся голосом. — Я позову.

В посетительском креслице достаточно комфортно устроился мужчина средних лет в дорогом костюме английской шерсти и лакированных ботинках. Его тонкие усики были подстрижены идеально ровно, а кудрявые русые волосы уложены с тщательностью, выдающей руку дорогого цирюльника. Идеальная осанка, здоровый румянец и блеск глаз говорили о том, что посетитель не жалеет времени на занятия новомодной галлийской гимнастикой.

— Попроси сделать два чая, — крикнул Баклавский вслед удаляющемуся Савишу, и прикрыл за собой дверь.

— Здравствуй, Ежи, — сказал Казимир Любек, старший сын Зигфрида Любека, отца-основателя крупнейшей в Кето компании.

Поднялся навстречу.

— Привет, Кази, — ответил Баклавский, обнимая школьного друга.

Значит, Ривейра был просто пробным камушком. Привет, Кази.

Начался обмен охами и ахами, срочными расчетами, когда же, в самом-то деле, они виделись в последний раз и при каких обстоятельствах, и что — неужели же совсем ничего? — изменилось в их жизни с того далекого дня. Чанг, бесшумно просочившись в кабинет, сервировал на рабочем столе легкий завтрак, и тотчас исчез.

Баклавский был искренне рад видеть Любека, но причина встречи здорово омрачала эту радость.

— Давай без экивоков, — первым предложил Казимир. — У нас в копях на днях рвануло так, что в Кето было слышно. Из четырех машин две встали, а одна и так на ремонте. Кайлом да киркой много не наработаешь, мы же не подземники. За трое суток сформировали заказ. Что-то подвозили прямо с завода, что-то перетачивали из других деталей. Огромная работа.

Баклавский отхлебнул маленький глоточек из тонкой фарфоровой чашки, не отрывая глаз от Любека.

— Когда отец узнал, что груз до сих пор в порту, его чуть удар не хватил. Попросил разобраться. Каждый час простоя — это наши деньги, Ежи. Что стряслось? Зачем тебе запчасти к жужелицам?

Баклавский развел руками.

— Сам уже мучаюсь, Кази! Дворец всё больше напоминает сонное царство. Отправил обычный запрос. Рутина, протокол. И третий день — тишина! — Покосился на пустой ящик входящей почты. — Главное, пока нет официального ответа, я и сделать ничего не могу. Процедура запущена, назад не откатишь. Знаешь же этих дворцовых формалистов. Буду их сейчас снова тормошить.

Казимир задумчиво приподнял чашку и поставил назад на блюдце.

— Отец не стал бы… — замялся, не зная, как лучше сформулировать. — Не стал бы связываться с какой-нибудь ерундой, ты же понимаешь. Наше корыто под парами, только ждет отмашки. Двенадцать контейнеров — час на погрузку. К ночи будет в Ганае. Ты же умный, Ежи, придумай что-нибудь! В собственном ведомстве-то надо уметь изымать лишние бумажки…

Баклавский поморщился, как от зубной боли:

— Это же Дворец, Кази! Кит меня дернул запросить снятие

пломб… Кстати, как это вы умудрились еще и Канцлера подпрячь?

— Срочный груз. В интересах города, — улыбнулся Казимир. — Уголь не может ждать.

— Боюсь, придется, — сконфуженно вздохнул Баклавский. — Надеюсь на ответ — с минуты на минуту. До обеда я здесь. Получу письмо — сразу всё сделаю быстро. Извини, Кази, больше ничего предложить не могу.

Любек поскучнел.

— А правда, что вашу службу распускают?

— Да нет, куда ж без нас. Просто переподчиняют таможне. По крайней мере, с сонными мухами из Дворца больше не придется возиться.

— Хорошая мина, Ежи. Если я всё правильно понимаю, на новом месте ты не пробудешь и дня. Куда собираешься?

Баклавский хмыкнул.

— Есть еще две недели. Посмотрим.

Казимир поднялся.

— Если что, обращайся. Для тебя всегда работа найдется. Я серьезно. Или думаешь, Патройя не устоит? — Взглянул резко, остро. — Тебе Октавио не пишет? Нет? — И, не дождавшись ответа, признался, — а мне пишет. И мне не нравятся его письма. Что ему там в голову ввинтили, и кит не разберет.

Повисла неловкая пауза. Казимир оставил на краю стола визитную карточку и двинулся к двери. Баклавский придержал его за рукав:

— Без обид?

Казимир усмехнулся:

— Не в том возрасте уже. Подумай над предложением. Кстати, вечером в "Золотом Плавнике" будет весело, сиамский маскарад — приезжай, если найдешь время!

И, прощально взмахнув рукой, вышел прочь.

Недопитый чай остывал на столе. За стенкой скрипели стулья. Всё здание администрации пропахло сырой дешевой бумагой. Бланки, реестры, протоколы, описи многоэтажно вздымались на всех горизонтальных поверхностях.

Что мне с тобой делать, Кази? Или ты веришь тому, что говоришь, и это только моя паранойя заставляет перепроверять каждое твое слово? Или Зигфрид использует собственного сына вслепую, как болванчика? Не хочу подозревать, Кази. Предпочту знать точно.

Наконец решившись, Баклавский достал из глубины верхнего ящика позолоченную визитную карточку. За два года она не

поблекла, что говорило о высоком качестве печати. "Праздники и торжества. Свадьбы. Похороны. Дорого и со вкусом".

Баклавский снял трубку телефона и ровным голосом продиктовал девушке шестизначную комбинацию цифр. Ответили почти сразу.

— У аппарата.

— Баклавский на проводе.

— Лек-Фом? — спросил слегка раздраженный голос. — Гроза причалов и всевидящее око? Польщен вниманием.

— Рад застать вас в добром здравии, Шульц, — Баклавскому очень не хотелось съезжать на манеру общения "желтых перчаток", но всё равно слова складывались в несвойственном им порядке. — Надеюсь, что и юный Патрик больше не хворает?

Два года назад внучатый племянник Шульца едва не попался на горячем — сопровождал от "Царицы Клео" до берега фрезерные станки, которые пытался ввезти контрабандой один ушлый фабрикант. Груз ушел под конфискацию, но мальчика Баклавский из списка задержанных вычеркнул, полагая, что раньше или позже чок-дэ самого Гибкого Шульца пригодится для чего-то более важного. Сегодня, похоже, этот день пришел.

— Спасибо за заботу, господин Баклавский, — процедил "отец правого берега". — Патрик поправился, взялся за ум, я помог ему устроиться в Механический. Золотые руки, станет хорошим мастером.

Да, подумал Баклавский, среди "перчаток" прорастает своя белая кость.

— Вспомнил нашу давешнюю беседу, Бенедикт, про вашего знакомого умельца-антиквара…

Шульц внимательно молчал.

— Есть у меня фамильная шкатулка со сломанным замком. Внутри громыхает что-то, а что не пойму. Разобрало любопытство, что ж там мои предки заперли, но ломать жалко. Вспомнил про вашего мастера, думаю, вдруг он смог бы внутрь заглянуть, не открывая шкатулки. А то если там какая ерунда, так не стоит и возиться.

Шульц продолжал молчать.

— Замок-то больно крепкий, одноногого мастера работа.

— Сильно приспичило? — наконец, спросил Гибкий. — До вечера потерпит?

— До вечера — умру! — засмеялся Баклавский. — Задушенный любопытством. Хорошо бы пораньше, пока держу себя в руках.

— А шкатулка большая?

— Она из нескольких секций. Каждая с вашу "Сигарную

Коробку".

Шульц не сдержал смешка. Если даже линию прослушивали, вряд ли кто-то вспомнил бы его первый паровой катер, сгоревший в самом начале войны с сиамцами за Новый порт. Рубка "Сигарной коробки" была инкрустирована сандаловым деревом, и Шульцу иногда снился запах пожара.

— Чему удивляться, господин Баклавский? Так часто с товаром бывает: то вещь стоит, годами никому не нужная, то вдруг на неё словно кит посмотрит, и прямо из рук ее рвут. Если антиквар сейчас в городе, то куда ему подъехать?

— Время утреннее, мне удобнее будет встретить его в порту, у головной конторы…

С языка чуть не сорвалось "Буду признателен", но это было бы явно лишним.

Шульц, не прощаясь, повесил трубку. Ну, Лек-Фом, отступать теперь некуда? Баклавский перевел дух.

Перед ним на столе так и лежало вечное перо Савиша, напоминая еще об одном незаконченном деле. Баклавский выдернул из-под пресс-папье лист "пневмы", и застыл над ним с занесенным пером.

Прямо день воспоминаний! Не хватает только Мейера. После Механического из нас один Казимир пошел проторенной дорогой. Получил образование, и применил его в деле — в собственном деле, под чутким руководством всесильного отца. Мейер подался в сыскари, меня занесло в Досмотр, а Остенвольфа потянуло на военную романтику. И никогда не узнать, что и в какой момент в нем надломилось… Врут газеты, врут министерские, врут придворные. Умник-Октавио, патриот и просто честный человек, гонит железных тварей и вылезшее из сельвы зверье на собственных пехотинцев…

И поэтому я не знаю, что написать тебе, Остенвольф. Не видя твоей цели, не могу угадать помыслов. А ты никогда не позволял себе действовать нелогично. Ты же Умник.

"Октавио", — вывел Баклавский, и тут же случайная чернильная капля испортила лист. А под промокашкой — расплылась корявой каракатицей.

"Октавио", — написал Баклавский на новом листке. — "Каждого из нас ведет собственный долг. Не оскорбляй нашу дружбу. Ежи."

Звякнул колокольчиком. Попросил Чанга позвать Савиша. Свернул "пневму", убрал в чистый картонный патрон с красной полоской срочности, аккуратно надписал крышку, и, опустив цилиндр в приемник, с силой дернул рычаг отправки. Короткое послание отправилось в путь до ближайшего узла связи. Там

оператор выудит его из груды ординарных сообщений, перекинет на другой узел, за реку, и еще один оператор вне очереди вложит патрон в отправной затвор, выставит на медных верньерах шестизначный код адресата, и цилиндр снова заскользит по душному нутру труб, опутавших Кетополис. На далекой окраине города, скорее всего, письмо не выпадет в ящик ничего не подозревающего обывателя, а исчезнет по пути. У аккуратного распила в трубе пневмопровода кто-то неприметный и терпеливый вздохнет с облегчением, и, сунув цилиндр за пазуху, отправится в путь…

А может быть, всё пойдет не так, и уже через четверть часа письмо ляжет на стол Канцлеру. Баклавского это почти не волновало.

Савиш, как обычно, казался озабоченным происходящим куда более своего шефа.

— Ну как? — спросил он с тревогой в голосе.

Баклавский пожал плечами.

— Это был Любек, да?

— Казимир. Старший сын.

— И?

— А какое может быть "и"? Объяснил ему, что на двор Его Величества особого влияния не имею.

— М-м… — Савиш совсем занервничал. — То есть, держим груз до последнего?

— Угу! — Баклавский вытянул из хрустальной вазочки ванильный сухарь и смачно отгрыз край. — А еще я всё думаю, как бы в эти китовы ящики заглянуть…

— Ежи! — Брови Савиша встали домиком. — Мы же давние друзья, послушай меня хоть раз! Ну нету же никакого смысла цепляться за этот хлам! Ты поругаешься и с Любеками, и с таможней, и с канцелярией — зачем, ради всего святого?! Можешь быть уверен, я поддержу тебя во всём, но к чему нам навлекать на свои головы неприятности? Всё равно за две недели не переделать мир, а что будет дальше? Как жить? Объясни мне!

Баклавский сжал губы. Он не любил высокопарных заверений в преданности, необдуманных клятв, пустопорожних обещаний. Тани Па очень хорошо научила его жить одним единственным днём — нити судьбы так легко выскальзывают из рук…

Савиш с видом соболезнующего родственника примостился в гостевом кресле. Вдруг хлопнул себя по лбу.

— Со всей этой кутерьмой, Ежи, я забыл самое главное.

Выудил из нагрудного кармана маленький желтоватый конверт и положил его перед Баклавским.

— Что это?

— Я же еще и из-за этого приехал. Утром мимо прошла черная лодка. Морячок принес, сказал, тебе в руки. Я думаю, ответ от *неё*.

Баклавский почувствовал, как сердце забилось сильнее. Другой так взволновался бы, открывая любовное послание. Но господина старшего инспектора в этот момент интересовали совсем другие вещи.

Который год ему не удавалось найти контакт, заключить подобие договора с плетельщицами. Добрая треть Стаббовых пристаней, вся северная сторона залива, находилась под контролем этого загадочного клана. Плетельщицы обладали серьезным влиянием в том числе и в криминальном мире. И Гибкий Шульц, и Дядюшка Кноб Хун не могли игнорировать интересы Белой Хильды, слепой старухи, главы клана. Очень немногие могли похвастаться тем, что видели ее воочию, да и половине из этих немногих веры не было никакой.

Баклавский надорвал конверт и взял из бювара костяной газетный нож. Аккуратно разрезал плотную дорогую бумагу, и извлек на свет… театральный билет. Савиш с любопытством нагнулся над столом:

— "Коральдиньо" в "Ла Гвардиа". Второй ярус, западная ложа, первый ряд. Неплохо, неплохо! Когда последний раз изволили посещать спектакли, господин инспектор?

Баклавский поцокал языком, внимательно читая.

— Это же сегодня! Смотри, сегодня в час! Что за время такое?

Савиш тоже посмотрел в билет.

— Это не спектакль, Ежи. Прогон. Генеральная репетиция. Мероприятие для тонких ценителей. Неужели вы с Хильдой будете шушукаться под монологи Тушинского?

Баклавский перевернул билет.

"Займите место, когда уже погасят свет. Не вздумайте прийти в мундире. Постарайтесь не привлекать излишнего внимания — оно неприятно обеим сторонам. Жду Вас. Энни."

Неровный, расползающийся почерк, кривые строчки. Будто тот, кто писал, не потрудился открыть глаз.

— Что еще за Энни? — удивился Савиш.

— Ты многих плетельщиц знаешь по имени?

— Никого… То есть, одну. Хильду.

— Думаю, что эта Энни — кто-то из приближенных. Понятно, что разговора в театре быть не может. Послать, что ли, тебя? Для симметрии?

Конечно, подобную встречу Баклавский не перепоручил бы никому. Он шутил, но Савиш этого не понял.

— Что ты, Ежи, — испуганно сказал он. — Я плетельщиц с

детства боюсь. Будь моя воля, на пушечный выстрел не подошел бы!

— И этому человеку я доверил Мертвый порт, — усмехнулся Баклавский. — Поезжай к себе. Может, заскочу после обеда. Расскажу, каков Тушинский.

Савиш рассмеялся:

— Если его сегодня утром не пристрелили. Нашелся дуэлянт великий!

Баклавский давно приметил в помощнике эту странную черту — на ровном месте, ни с того ни с сего, язвить по поводу малознакомых людей. Но друзьям полагается прощать мелкие вольности. Слишком их мало, нельзя разбрасываться по пустякам.

Савиш засобирался, что заключалось в обхлопывании карманов, хаотичных метаниях по кабинету, и закатывании глаз, будто это помогало вспомнить что-то важное.

— Вроде, всё! — наконец, заявил помощник.

— Угу, — подтвердил Баклавский. — Твоё перо…

Перед шлагбаумом на въезде в охраняемую зону порта урчал элегантный "Астин". Из будки охраны опасливо выглядывал патрульный. Окна мобиля были черны как ночь, за стеклом едва угадывался профиль водителя и пассажира.

Баклавский подошел к мобилю. Задняя дверца приоткрылась. В проеме мелькнула полосатая брючина и крепкая мужская кисть, затянутая в желтую лайку.

— Хотелось бы обойтись без пеших прогулок, — негромко сказал пассажир.

Баклавский махнул патрульному, тот начал торопливо крутить ручку шкива, и шлагбаум поплыл вверх.

Баклавский втиснулся на заднее сиденье мобиля. Хромированные плашки, тугой набивной диван, бархатные шторки на окнах тёмного бирманского стекла — похоже, Гибкий Шульц прислал собственную машину. Хороший знак.

Человек, сидящий рядом, представился:

— Дэнни.

Баклавский недоверчиво повернулся к нему. Чок-дэ, зависший за Шульцем, был не пустяковым, но давнишним. Глава "перчаток" имел право отмахнуться от просьбы Баклавского, прислав из вежливости кого-то из желторотиков, но не сделал этого. Сидящий рядом человек мог быть только легендарным Зорким Дэнни, лучшим медвежатником Кето, создавшим свое реноме не одной сотней успешных взломов.

Мобиль на изумительно мягких рессорах не въехал, а вплыл в зону досмотра. Баклавский указал шоферу нужные повороты — в

лабиринте ящиков, тюков, рулонов, коробов мог разобраться только местный.

Четверо патрульных черными статуями застыли по углам квадрата, составленного из любековских контейнеров. Штыки примкнуты, оружие наперевес. Судя по всеобщему интересу к этому грузу, мера действительно не лишняя.

— Что работаем? — спросил Зоркий до того, как выйти из машины.

Баклавский показал на контейнеры:

— Хочу проверить, что внутри, а вскрывать не имею права. Слишком тугие пломбы.

Зоркий понимающе кивнул.

— Отверните мальчиков немножко!

Баклавский вышел из мобиля. Ближайший досмотровик вытянулся в струнку.

— Господин инспектор! Докладывает старший патрульный Полак! Происшествий нет! Подозрительных личностей не появлялось!

— Вольно, — Баклавский подошел к контейнеру. Плотно пригнанные доски, стык в стык, стягивались металлической лентой. Углы закреплены. По граням — скобы. Не то, что палец просунуть, солнечному лучу не проскочить. — Таможня?

— Крутились… лейтенантики. С шуточками, мол, кого поймали? Кита по частям? Мы, как велено, в разговоры не вступали.

— Давай-ка вот что, Полак… Я пока здесь побуду, хочу номера пломб с накладными сличить. Надо, чтобы мне никто не мешал, и вообще сюда не заглядывал. Включая вас.

Патрульный оценивающе осмотрел местность.

— Тогда, господин инспектор, нам надобно вот так встать: двоим у пакгаузов, одному к забору, а одному у воды.

— Молодец! — похвалил Баклавский. — Действуйте!

Рядом навалом, горой, лежали тюки с конфискатом. Неделю назад какой-то пройдоха пытался отшвартоваться вне бухт, пользуясь внезапным штилем. Не получилось. Чайки разодрали один из тюков, и с воплями вытягивали оттуда блестящие шелковые кофточки — красные, желтые, сиреневые, все в стеклярусе и блестках.

Хлопнула дверца мобиля, и к Баклавскому подошел Зоркий. Его близко посаженные глаза смотрели непонятно куда — левый сильно косил вбок, а на лице застыла трагичная и скучающая гримаса. Медвежатник был одет в мешковатый костюм, тупоносые туфли и мятую шляпу, без обычного для "желтых перчаток" лоска. Специалист его уровня мог плевать на любые

традиции и порядки. В одной руке Зоркий держал домкрат, в другой — черный кофр, по форме напоминающий чехол для флейты, только чуть длиннее.

— В каком смотреть будем?

— В любых трех-четырех, какие приглянутся. А там разберемся.

Зоркий положил инструмент на землю, обошел контейнеры по периметру. Прохлопал ладонями каждую стенку, внимательно изучил стыки, к одному контейнеру зачем-то прижался ухом. Вернулся к мобилю.

— А Одноногий не огорчится? — по-свойски осклабился Зоркий.

— Вскрывать — нельзя, — невозмутимо сказал Баклавский, — а про "посмотреть" в бумагах ничего не сказано.

— Ну, тогда приступим, помолясь.

Дэнни бросил шляпу на сиденье мобиля, а затем достал из багажника еще один домкрат и несколько блестящих железяк устрашающей формы. Через пару минут угловой контейнер перекосился настолько, что доски по длинной стороне скрипнули и кое-где разошлись, открывая узкие темные щели. Зоркий щелкнул замками кофра. В синем бархате лежало нечто, похожее на человеческий позвоночник, но собранное из металла и стекла.

— Красивая смотрелка, — уважительно сказал Баклавский.

— Гляделка, — вежливо поправил Зоркий.

С одного конца необычного инструмента крепился широкий металлический обруч. Дэнни надел его на голову, и подогнал крепеж так, чтобы пустой ствол располагался напротив правого глаза.

Гляделка походила на хобот или клюв. Пальцы правой руки мастера вошли в проволочные петли на уровне щеки, и конструкция несколько раз по-змеиному изогнулась.

Зоркий подошел к контейнеру, и осторожно просунул кончик гляделки в щель. Левой рукой направил к свету боковой отросток с большой собирающей линзой. Двинулся вперед, пока не прижался к доскам носом. Баклавский стоял у него за спиной. Мышцы на шее Зоркого налились, распирая воротник — видимо, гляделка весила не один килограмм. Поводя пальцами влево-вправо, медвежатник, наконец, сообщил:

— Детали.

Потом решил сказать чуть больше:

— В ящиках. Открытых и закрытых. Всё в масле.

— Что за детали, — спросил Баклавский. — На что похоже?

— Как объяснить… А что там должно быть?

— Сменные узлы для жужелиц — горных машин в угольных

шахтах.

— Вроде того. Здоровенные тяги, шарниры, поршни. Точнее не скажу.

Баклавский прикусил губу. Потом едва не хлопнул себя по лбу.

— А маркировка? Маркировка есть?

— Кое-где. По шесть-семь цифр. Некоторые ящики подписаны. Ага, вижу железяку с выдавленным номером.

Баклавский выдернул из кармана блокнот.

— Записываю.

— Что?

— Номера.

— Что, все?

— Все, какие видны.

За последующий час их никто не потревожил. Чайки растащили контрабанду по всему порту, и разноцветные тряпочки весело смотрелись в осенней серости.

Когда мобиль Шульца миновал шлагбаум, Баклавский вернулся в контору. Чанг беззвучно поставил перед ним чайник, сахарницу, чистую чашку, и тут же вышел.

Времени до встречи с плетельщицей оставалось мало. Обжигаясь кипятком, Баклавский сверял каракули из своего блокнота с длинным товарным перечнем в накладной на фирменном бланке компании "Любек и Сыновья". Кази, Кази, Кази…

Маркировка — великое изобретение. Унификация скоро покорит мир. Каждая вещь, каждое творение рук человеческих будет идентифицировано, вписано в реестр, и получит на веки вечные своё уникальное обозначение. Что это у нас тут за "Ви-Пи"? Сорок семь одиннадцать, сорок семь ноль пять… И ноль девять… Обводим. И вот эти… "Эс-Эф"… Пять позиций, и ни одной — в накладных. И вот еще…

Из форта прикатился орудийный залп — полдень.

— Чанг, готовь мобиль, — крикнул Баклавский. А сам вызвал всё тот же номер.

Абонент долго не отвечал, и из трубки сочилась стылая тревожная тишина. Наконец, щелкнуло соединение.

— Благодарю, — сказал Баклавский, и, не дожидаясь ответа, повесил трубку.

Номера деталей, не числящиеся в любековских накладных, он выписал на отдельный листок и убрал в карман шинели. Думай, Лек-Фом, думай, кто за четыре часа в состоянии сказать тебе, что означают эти буковки и циферки.

На северо-восточном склоне Монте-Боки, плавно и величаво спускающемся к сутолоке и неразберихе бульваров, с давних пор селилась знать. Чем выше, чем ближе к вершине, украшенной Дворцом, стоял особняк, тем древнее и влиятельнее был род, его занимающий. Еще Август-Строитель облюбовал одинокий холм, возвышающийся над заливом с юга, под место для будущей королевской резиденции, в стороне от мирского шума старого города.

Новая бухта тогда была всего лишь озером, собирающим в себя все рукава Баллены, и выплескивающим их в океан через узкую и мелкую горловину между Монте-Бокой и Орудийным холмом. Берега озера постепенно заселили сиамцы, те, что бежали из своих южных земель от бирманской резни. В городе пришельцев не особо жаловали, а Молчаливый Стабб, легендарный боевой адмирал Кето, попросту запретил сиамцам приближаться к порту.

Город рос, у подножия Монте-Боки раскинулись изящные Бульвары, пышным цветом расцвела Слобода, и порт стал мал для города, так детишки вырастают из старой одежды. После того, как бирманские корсары едва не захватили Орудийный холм, король Максимилиан отдал распоряжение удвоить океанский броненосный флот, на тот момент состоявший из стремительно устаревающих аргентинских и галлийских дредноутов, обшитых стальными листами. На стапелях Кето впервые заложили суда столь внушительного водоизмещения. Стало ясно, что неудобная бухта с головоломным фарватером окончательно изжила себя.

Инженеры Гримальди и Лейтон, выписанные из трещащей по швам от междоусобных войн Европы, возглавили невероятный по тем временам проект. И когда о борт нового флагмана броненосного флота, горделивой широкоскулой "Леди Кетоники" разбилась обязательная бутылка шампанского, углубленный инженерами пролив между Монте-Бокой и Орудийным холмом уже превратил пресноводное озеро в новую, идеально расположенную, закрытую от любой непогоды бухту.

С момента рождения Нового порта не прошло и пятнадцати лет. Стаббовы пристани медленно и мучительно умирали. Старый порт стал местом для неудачников. За одну праздничную ночь сгорела дотла Слобода. Многие мастера не стали отстраиваться заново, резонно рассудив, что теперь дела делаются по другую сторону Монте-Боки.

Пока окрестности Нового порта раскупались проницательными землевладельцами, обустраивались и преображались, на Стаббовых пристанях поселилось отчаяние и неверие. Всё чаще старый порт стали звать Мёртвым, разнося его

и без того дурную славу. Северная часть залива постепенно превратилась в Плетельню, белое пятно на карте города. Слепые женщины предпочитали жить в стороне от всех, своим кланом, их мужья и сыновья блюли границы Плетельни жестоко и эффективно. Войти без приглашения в квартал, опутанный сетями плетельщиц, считалось надежным способом покончить с собой.

С воды доступ к Плетельне был значительно проще. С тех пор, как началась война с китами, — многие кетополийцы, несмотря на запрет, осмеливались называть очевидные вещи своими именами, — роль плетельщиц год от года становилась всё более значимой. До того, как охранные сети навсегда не перекрыли вход китам в обе бухты, не раз и не два гигантские самоубийцы выбрасывались на берег, уничтожая по пути не только лодки и рыбацкие челны, но даже крупные торговые суда. Те, кто хоть раз слышал голос атакующего кита, навсегда проникались почтением к плетельщицам.

Но почтение почтением, а каждый причал Кетополиса находился под контролем Досмотровой службы Его Величества Михеля Третьего. Остров Кето, расположенный, по мнению его жителей, в центре мира, всегда был открыт для торговли с купцами из любых государств — с единственным исключением для Великой Бирмы. Впрочем, бирманцы отродясь не умели торговать, совершенствуя свои навыки лишь в войне и морском разбое.

В подчинении Баклавского находились три отделения Досмотровой службы — на Стаббовых пристанях, в Пуэбло-Сиаме, и, головное, в Новом порту. Четыре паровых катера, три новеньких мобиля. Сорок патрульных — не военных и не полицейских, служили под его командой, и таможне доставалась только бумажная работа — проверить документы и принять пошлину в кассу. Досмотровики гордились своей черной формой, и держались обособленно, не опускаясь до панибратства с коллегами в сером.

Но теперь, когда Монопод понемногу прибрал к рукам всю реальную власть, участь Досмотровой службы была ясна и прозрачна. Ленивый и рассеянный Михель на самом деле не мог управлять чем-то сложнее двуколки, поэтому Баклавский относился к надвигающимся реформам хоть и отрицательно, но с пониманием.

— Господин инспектор, — на выходе из здания розовощекий патрульный, из новеньких, вытянул шею, пытаясь изобразить стойку "смирно", — а что… а что с нами теперь будет?

Чанг вывел мобиль из служебного ангара. Плохо прогретый

котел еще потрескивал, и дым из трубы шел не сизо-прозрачный, а жирный и черный.

Баклавский, нервный и напряженный, как зверь, почуявший добычу, только хохотнул:

— С вами-то? А что с вами может быть? Переоденетесь из кротов мышками, и всех делов!

Запрыгнул на сиденье рядом с Чангом.

Мобиль заложил крутой вираж, и затрясся по брусчатке вверх по дороге, поднимающейся из порта в район Хрустальной башни.

IV. "Ла Гвардиа"

Решение нашлось само.

По левую сторону Предельной улицы дворцы и виллы прятались за ажурными оградами на склонах Монте-Боки. По правую — респектабельные многоэтажные особняки выстроились в ряд, меряясь вычурными фасадами. Родители Баклавского умерли давно, и он жил один в гулкой пятикомнатной квартире.

Окна гостиной выходили в узкий переулок и на невысокий жилой дом. Баклавский любил наблюдать, как в уютной мансарде напротив, оккупированной кульманами и чертежными столами, работает старик-инженер, из флотских. Последние дни он вырисовывал чертежи паровых котлов бирманской джонки, взятой на абордаж к западу от Кето в середине июля. Старик, седой как лунь, мог часами простаивать перед кульманом, вычерчивая патрубки, оси, клапаны сложной трофейной техники. Куда смотрит контрразведка, недоумевал Баклавский, ведь живи в моей квартире кто-то чужой, просто глядя в окно можно было бы все секретные разработки срисовывать до последнего винта!

Сосед, когда замечал Баклавского в окне, поднимал в приветственном жесте руку, и продолжал чертить. Сегодня Баклавский нашел в справочнике телефонный номер инженера, и позвонил ему. Не вдаваясь в подробности, попросил помочь с поиском по маркировке двух десятков сомнительных деталей. Старик пообещал связаться с архивом, явно польщенный тем, что к нему обратились.

Чанг и Май ждали в мобиле. Когда Баклавский вышел из подъезда в смокинге и штатском пальто, братья едва сдержали смех — им еще не доводилось видеть шефа в подобном облачении.

— Еще не известно, состоится ли спектакль, — сказал Май. —

Газеты кричат, что Тушинский чуть ли не убит на дуэли.

— Поторопимся, — сказал Баклавский, давая понять, что не настроен на болтовню.

До Золотого бульвара мобиль домчался за несколько минут. На подходе к изящному зданию "Ла Гвардиа" бедные студенты выпрашивали у прохожих контрамарку. Баклавский миновал колоннаду красноватого камня и взлетел по ступеням театра без одной минуты час.

В западную ложу он вошел под рев аплодисментов. Полукруглый балкон вмещал пять рядов кресел. Все зрители в зале встали, чтобы поприветствовать вышедшего на сцену раненого Тушинского. Великий артист сдержанно кланялся в ответ на овацию, придерживая здоровой рукой простреленную. Кружевная батистовая перевязь смотрелась на сцене вполне к месту.

А потом Баклавский увидел плетельщицу. Она сидела в первом ряду, отделенная от прохода лишь одним пустым креслом. Сердце привычно дрогнуло — редко кому удавалось остаться невозмутимым в присутствии слепых девушек таинственного клана. Иссиня-черные волосы, убранные вверх, прятались под вуалеткой. Бледное узкое лицо, длинные ресницы, приоткрытые глаза, тонкий нос с горбинкой, изумительные губы — всё казалось мистически, нечеловечески безупречным.

По другую сторону от плетельщицы расположился крепкий лобастый моряк. Смокинг не обманул бы никого — бронзовая шея, тяжелый подбородок, в ухе вместо кольца — веревочная петелька с хитрым узлом. Обязательный телохранитель и поводырь — плетельщицы никогда не покидали свою вотчину без сопровождения.

Аплодисменты смолкли, свет окончательно погас. Зазвучала увертюра. Баклавский опустился в свободное кресло.

— Здравствуйте, Энни, — сказал он шепотом. — Можете звать меня Ежи.

Плетельщица чуть повернула голову, сквозь ресницы блеснули белки.

— Здравствуйте, Баклавский, — что за чудный голос! — Хорошо, я буду звать вас по имени.

Занавес распахнулся с последними тактами увертюры. Зал восхищенно вздохнул — столь искусны были декорации, а особым образом направленный свет газовых софитов лишь усиливал это впечатление. Ничего общего с тяжелым бархатом и аляповатой позолотой Оперы. Здесь, в "Ла Гвардиа", рождалось новое представление о прекрасном.

На сцену выбежала селянка с букетом двухцветных

патройских роз. Знатоки могли бы узнать во внешне простом пейзанском костюме работу Селины Крейцер, одной из лучших модисток Кетополиса. Очаровательно улыбнувшись, она доверительно сообщила сидящим перед ней зрителям:

— "Наш герцог — просто ангел! И хотя
Порой ведет себя как вздорное дитя…"

Сразу послышались смешки — задолго до премьеры разнесся слух, что в образе герцога внимательный зритель заметит множество черт Его королевского Величества.

Баклавский чуть повернулся к Энни.

— Я просил госпожу Хильду о встрече. Вы уполномочены сообщить мне ее ответ?

Плетельщица произнесла что-то неразборчивое.

— Что вы сказали? — переспросил Баклавский, стараясь не шуметь.

— "… к их дочери, прекрасной Изабелле.
Насколько оба были хороши,
Настолько оба и не преуспели".

Смех снова заглушил слова Энни.

— Я буду держать вас за руку, Ежи, — повторила она.

Его ладони коснулся лёд. В полутьме ложи рука плетельщицы казалась мраморной. Неимоверно длинные и тонкие пальцы скользнули в ладонь Баклавского. Он обратил внимание на вытянутый мизинец, почти вровень с безымянным пальцем.

— Так нам будет легче понимать друг друга, — сказала Энни.

От этого простого жеста, незаметного для остальных зрителей, Баклавского вдруг бросило в жар. Хрупкая кисть плетельщицы мгновенно согрелась в его ладони, успокоилась, расслабилась, как птица, осознавшая неволю и смирившаяся с ней.

Через проход от них нервно расстегнул воротник круглолицый гардемарин — тонкие юношеские усики, напомаженный чуб, пух на румяных щеках. Свернул шею, недоверчиво и страстно глядя на плетельщицу и инспектора, на их соединенные руки. Вот оно, счастье со стороны, подумал Баклавский. Мальчишке сегодня не уснуть. О спектакле и не вспомнит. Будет мечтать о том, как плетельщица прячет легкие пальцы в его ладони, как шепчет непонятные слова, прижимая его лицо к своему плечу, как… Ну, кто же в юности не грезил

слепыми дивами?

— "Скажи, цветок…" — перед селянкой появился Тушинский в костюме слуги, и зал взорвался рукоплесканиями, — "со мною ли удача? Там впереди — не замок Бонафачча?"

Разговаривать во время спектакля было неудобно. Приходилось ловить паузы, смены сцен, и тогда торопливо обмениваться короткими репликами. Телохранитель заметил, где находится рука плетельщицы, и буркнул что-то недовольное.

— Макс, — холодно ответила Энни, — ты же… — остального Баклавский не расслышал.

Больше телохранитель не вмешивался в их беседу. Его внимание привлекло что-то в ложе напротив, и он не отрываясь смотрел туда. Баклавский проследил за направлением его взгляда. Когда сцена оказалась освещена особенно ярко, Баклавский разглядел в восточной ложе худую бледную особу. Рядом с ней громоздился в кресле кто-то большой. Неужели? Две плетельщицы в один день? Неужели "Коральдиньо" так взволновал даже неприступных затворниц, что они не смогли дождаться премьеры?

Но думать над удивительным фактом было некогда — разговор, пусть и с паузами, происходил странный, сложный, затягивающий. Уже минуту спустя Баклавский не смог бы восстановить последовательность сказанного, реплики плетельщицы смешались с тем, что он собирался сказать сам. Как туман в голове, и…

Я буду задавать вопросы, и если вы обманете, ваша рука скажет мне об этом. Какой смысл в обмане? Мы с госпожой Хильдой можем быть полезны друг другу. Я всего лишь хотел бы поговорить с ней. Вы верите в то, что киты могут разговаривать с нами, Ежи? При чём здесь… Ответьте! Не знаю, это слишком сложно для солдафона вроде меня. Вот, уже обманываете, вы никогда не считали себя служакой…

> — "Но, господин! Ведь дело не в наряде!
> Важней осанка, взгляд, манеры, слог —
> Я даже подражать бы вам не смог!.."

Тушинский вновь сорвал аплодисменты.

Телохранитель второй плетельщицы, в этом уже не было сомнения, так же пристально наблюдал за Максом. Как странно он смотрит, подумал Баклавский. Неужели их в Плетельне так много, что кто-то может быть не знаком?

— Вас подговорили искать встречи с нами сиамцы, — полуспросила-полуответила Энни. Помутнение прошло, и

Баклавский понемногу взял себя в руки.

— Сиамцы далеко, — сказал он. — Не их вам стоит опасаться. Плетельня торгует с подземными. Плетельня каждый год поднимает цены на сети. Плетельня обособилась от города. Это закономерно не нравится Канцлеру. Если каракатицы силой захотят вернуть городу контроль за Мертвым портом, это никому не пойдет на пользу. Будет много крови.

Энни удивленно вытянула губы.

— Вы же слуга Канцлера, Ежи. Зачем вам влезать в наши с ним дела?

— Ну вот, — сказал Баклавский, — теперь я знаю, что у вас есть дела. И я работаю на короля, с вашего позволения.

— Ежи, — спросила Энни, — вы в чем-то не доверяете Канцлеру?

Переодетый слугой дворянин подсказывал Тушинскому, как вернее на дуэли вывести противника из строя.

— "Не важен способ — важен результат!
И так, и так погибшего забудут,
А победителя — накажут, но простят!"

— Нет, не доверяю, — сказал Баклавский.

— Вот видите, — улыбнулась Энни, — как легко и приятно говорить правду. Мы тоже опасаемся Одноногого. Мы хотим только покоя и уединения.

Баклавский почувствовал, что кончики ее пальцев снова стали прохладными.

— Тогда нам нужно договориться, — сказал он. — Я не буду требовать непомерного. Я иду к Белой Хильде с чистым сердцем.

— Я вижу, — сказала Энни, ее закатившиеся зрачки заметались под веками.

Она надолго задумалась, словно отстранилась.

Сцена повернулась, поворачивая к залу лесной пейзаж. Серебряные ветви деревьев обрамлялись листьями из рудного камня. Из-за горизонта выплывало солнце, собранное из желтых и оранжевых кусочков смальты. Зал восхищенно зашептался.

— Сегодня на закате, — наконец сказала плетельщица. — У входа с Ножниц вас встретят. Будьте один, иначе вас не пропустят. А сейчас — уходите.

Бледный, в испарине, Тушинский-Коральдиньо замер спиной у края сцены, вполоборота к публике. Зал затаил дыхание.

— "… пройдет ли шпага мимо?
И даже жизнь оставив на кону,

Мы гибнем, у иллюзии в плену:
Что позволительно, а что недопустимо".

— Не буду отвлекать от Тушинского, Энни, — шепнул Баклавский, поднимаясь и выпуская ее руку.

— Прощайте, Баклавский, — прохладно ответила плетельщица, кажется, уже поглощенная спектаклем. На сцене назревала дуэль, и голоса артистов звучали напряженно и резко.

Пока Баклавский поднимался к выходу из ложи, он чувствовал, что тяжелый взгляд Макса упирался ему в спину как ствол револьвера.

V. Круадор

В полукруглом зальчике "Китовой Печенки" уютно пахло жаровней и специями. Заведение специализировалось на приготовлении разных чудесных блюд из малосъедобной китятины. Обычно со свободными местами сложностей не возникало, но сейчас, накануне праздника, незанятых столов не было. Все торопились откусить свой кусок Кита.

Китятину здесь подавали на решетке и на пару, фаршированную морскими перчиками и жареную в ореховом масле, тонко наструганными ломтиками карпаччо и в виде крутобоких фрикаделек в густом, пахнущем травами бульоне. Баклавский предпочитал фритто кетополитано — мелко наструганное мясо, перемешанное с луком, паприкой и кунжутом, и зажаренное до полуобугленного состояния.

За дальним столиком у окна он увидел знакомое лицо. Дон Марчелло лет пять назад стал настоятелем храма Ионы-Кита-Простившего на границе Слободы и Бульваров прямо под трамвайной дорогой.

Священник призывно махнул рукой, и Баклавский начал пробираться между тесно поставленными столиками. Никто не курил. Непонятно, как этого удавалось добиться хозяину-итальянцу, ведь вывески, подобные висящей здесь "Табачный дым убивает аромат кухни", никогда никого не останавливали. Мимо проплыл официант, неся на вытянутой руке шкворчащую китятину на камне. Несколько маклеров, ожесточенно жестикулируя, спорили о том, во что переводить сбережения клиентов. Им было о чем беспокоиться — с приближением Остенвольфа к Патройе цена на золото выросла уже вдвое. У окна скучающая матрона брезгливо следила за тем, как одетое в матроску чадо уныло гоняет еду по тарелке. За окном

продефилировал Чанг. В узком кругу братья охотно садились за стол к шефу, но на людях чаще выступали телохранителями. В глубине зала хлопнула пробка, и нестройный хор голосов затянул что-то поздравительное. Из кухни выглянул кудрявый повар, безумным взглядом окинул посетителей, и снова исчез.

— Здравствуйте, святой отец, — Баклавский повесил пальто на разлапистую вешалку около столика и одернул смокинг. — Иона простил Киту всё, когда попробовал его под кисло-сладким соусом?

— Годы вас не меняют, инспектор! Всё такая же язва! — хохотнул священник. — Не забудьте напомнить про соус, когда будете жариться на сковородке. Возьмите сидру, Паоло как раз открыл новую бочку.

— Здравствуйте, инспектор! — пожилой официант вынырнул у их столика, меняя тарелку с хлебом. — Как всегда, локро и фритто?

— Добрый день, — ответил Баклавский, — как всегда. И кувшин сидра.

Официант улыбнулся и исчез.

— Ведь вот, что интересно, — поднял вилку дон Марчелло, и нацелил ее в Баклавского, — добро и зло как будто поменялись местами! Добродетель теперь показывает такие хищные зубы, что диву даешься — откуда всё это? Хотя бы это бесчинство в огородах — вы в курсе?

Баклавский кивнул.

— Эти грядочки, парнички, по сути — забава. Люди ищут выход для задавленной в них творческой составляющей. Общаются с растениями, а не с себе подобными. Я тоже, знаете, люблю иногда после службы выбраться на природу. Трамваем прямо от храма, до Речного порта — а там пешком, не больше четверти часа. Особенно хорошо осенью, да. Жизнь готовится ко сну! Эти сизые после ночных заморозков листья, жухлая трава, ледок на лужах… У меня три ара земли почти у самого берега — знаете, где?

Баклавский помотал головой. Тень официанта промелькнула рядом, и на столе материализовалась плошка густого, желтоватого супа с торчащим бледным айсбергом китового мяса.

— Помните заброшенную красильню? Где "механики" и гардемарины постоянно свои побоища устраивают? Вот прямо шагах в ста. Чудесное место!

— Не такие уж побоища, — возразил Баклавский. — Я и сам Механический закончил. Доставалось, конечно, но всё же намеренной жестокости не было, скорее — спорт, баловство.

— Так вот, в огороды повадились воры! Кто-то считает, что

это подземные, но они же не едят человеческой еды, зачем им наша брюква и репа? А мне друзья подарили семена хрена, если знаете, что это. Северная диковина, редкостно ядреная штука. Так-то у меня там больше цветы, травы лекарственные. А тут посадил я хрен! Казалось бы, ну кому нужна такая заморщина? Соседи — кто картошки, кто моркови недосчитался, яблони обтрясли просто повсеместно. Гастрономические воры, ха-ха! И, вообразите, мой хрен тоже выкопали на всякий случай. Представляю, как гадают теперь, что с ним делать!

Баклавский рассмеялся. Священник пользовался вилкой, как дирижерской палочкой, размахивал руками, закатывал глаза. Баклавский никогда не был в Ионе-Прощающем, но, пожалуй, на службу дона Марчелло стоило посмотреть.

— Так вот, самые ретивые огородники на паях купили где-то механических псов. Страшные твари, скажу я вам! Туловище добермана или овчарки, но грудь и загривок обшиты бронзой, морда вся в иглах, не подступишься, а клыки… Думаете, я про зубастую добродетель случайно разговор завел? Воров извели! Не за недели — за дни! От троих нашли только ошметки. Совсем не богоугодно. Но крайне эффективно. Но ради чего, спросим себя, провоцировать смертоубийство? Мало разве и так каждый день напастей, чтобы еще и собственными руками множить несчастья? Ради чего? Ради хрена?

Шкворчащее фритто кетополитано сменило пустую плошку. Официант налил сидра в стакан Баклавскому. Священник коротким движением ладони показал, что ему не надо.

— Или вот сомские бобы! Что вы дергаетесь, это же *ваша* работа, я ничего не путаю?

— Моя работа, — усмехнулся Баклавский, — чтобы их не было.

— И здесь возникает важный вопрос! — Дон Марчелло машинально поднял со стола свой стакан, и с удивлением обнаружил, что он пустой. Баклавский потянулся за кувшином. — Простой вопрос! Мы все ученые люди, или мним себя таковыми, но скажите мне, инспектор Ежи: а почему запрещены бобы? А?

— Вы спрашиваете или хотите рассказать?

Священник посмотрел на Баклавского с довольной снисходительной улыбкой:

— Смешно, не правда ли? Кто сидит за этим столом? Служитель культа Ионы, Кита простившего. И светский человек, чья обязанность — мешать остальным обращаться к Киту. Да вы прямо отнимаете у меня хлеб, инспектор! Вроде бы, не найти в Кето более непохожих персонажей, а дело-то у нас одно!

— Так что же с прощением? — спросил Баклавский. — Кит

прощен, но лишен права голоса? И скажите, дон Марчелло, вы всерьез верите, что, покурив сушеные бобы, можно услышать *их*? Что бобы чем-то принципиально отличаются от кокаина или опиума?

— Насколько я знаю, — сказал священник, — хотя меня вряд ли можно причислить к специалистам в подобных вопросах, еще никому не пришло в голову бороться с дурманом во всех его проявлениях. Табак, опий, морфий, кокаин, алкоголь — все пагубные субстанции отравляют тело человека и калечат душу. Но только синим бобам уделено столь пристальное внимание власти. Значит, отличие есть? У кого бы спросить?

— У Канцлера, — пожал плечами Баклавский.

— И вы сказали: "услышать *их*". Правильно — "услышать е*го*"! Его! Что бы ни говорили великие мореплаватели и премудрые астрономы, а в высшем, метафизическом смысле мир стоит на спине у Кита. Единого Кита с миллионом сущностей. И если все твари океана устремляются в одну точку, то где-то в другом месте проседает суша. Вы же слышали, сын мой, о мифических островах, опустившихся в морскую пучину? Атлантида, Мадейра, Эль Бермудо — о них осталась только память. А в этот раз — очередь Кето. Ни одному кораблю не выплыть из гигантской воронки, ни одному человеку не уйти от Страшного Суда.

— Дон Марчелло, — поморщился Баклавский, — мотивация сковородки годится лишь для торговцев и докеров. В подпорке нуждается слабое дерево, а дуб с бурей справится сам. Когда в человеке ослабевает внутренняя сила, он ищет помощи на стороне.

Священник развел руками.

— Иногда дуб вырывает с корнем… Меня удивляет, Ежи, что при всей ереси, которую вы проповедуете с умным видом, я никак не могу назвать вас безбожником. Вы упорствуете, пытаетесь отделить себя от окружающего мира, выстроить свои законы. А в моем приходе есть люди гораздо более образованные и тонкие, не чета вам или мне. Не одними модистками и клерками сегодня живет церковь. Вот ваш помощник не пренебрегает долгом перед Господом…

— Савиш? — не поверил Баклавский. — Мой дражайший Савиш, щеголь и сердцеед, игрок и театрал, не проспавшись после субботнего варьете, предстает пред вами во всем смирении? Чудны дела твои, Господи!

— Не поминайте имя Его всуе, — поджал губы дон Марчелло.

— Савиша? — уточнил развеселившийся Баклавский.

— Инспектор!

Священник даже хлопнул ладонью по столешнице.

— Вы юродствуете, потому что пытаетесь защититься, вот что я вам скажу.

— Защититься, святой отец? От чего же?

— От одиночества, сын мой. Гнетущего, постоянного, грызущего вас изнутри, подвигающего на бессмысленные поступки, дурные мысли и тщетные поиски выхода. Пока свет небесный не коснется вашей обманутой души, вам никуда…

— Дон Марчелло, — перебил его Баклавский, — мы же только что так интересно беседовали о Савише! Скажите же мне, он и на исповедь ходит? И причащается? Нет, мне просто интересно! А то живешь рядом с человеком, работаешь, и год за годом прочь, а ведь ближе не становишься ни на йоту, понимаете? Вы видите одно, я — другое, кто-то — третье, и вот если бы все точки зрения объединить, сложить в мозаику, то, может, тогда и стал бы придуманный образ походить на самого этого человека. А так…

— Приходите ко мне на службу, Баклавский, — примирительно сказал священник. — Я не хочу уговаривать вас. Современный мир и так переполнен пропагандой и рекламой. Даже страшно подумать, что нас ждет через двадцать-тридцать лет. Я просто зову. Дружески. Я вижу, вы созрели. Осталось только переступить порог — внутри себя.

Баклавский отрицательно покачал головой.

— Может быть позже, святой отец. Не торопите меня.

Положил банкноту уголком под тарелку, встал.

— А скажите, дон Марчелло… Вот, к примеру, Савиш… Он хороший прихожанин? — поинтересовался Баклавский, уже надевая шинель.

Священник поднял на него взгляд, полный странных противоречивых эмоций, будто его попросили нарушить тайну исповеди. Что-то угадать по выражению лица святого отца не представлялось возможным — так можно нюхать смеси сиамских приправ, пытаясь по ниточкам отдельных запахов восстановить изначальный букет.

— Он старается, — сказал дон Марчелло. — Доброго дня!

Баклавский вышел из жаркой харчевни, и, жмурясь, подставил лицо ледяным ласкам ветра. Чанг едва заметно качнул подбородком в сторону книжной лавки на другой стороне улицы. Баклавский посмотрел туда, куда указывал помощник. Спиной к ним над развалом грошовых изданий склонился щуплый сиамец в неприметном сером пальто.

Беседа со священником отвлекла от насущных мыслей, что-то разбередила в душе. Баклавский сказал Чангу, что пройдется

пешком до конца бульваров, и куда точно подогнать машину, а сам повернул к Круадору. Май, видя, что шеф не расположен к беседе, отстал на несколько шагов.

Улица художников брала начало от Бульваров и ленивыми изгибами текла по краю Горелой Слободы, обрываясь на подходах к Мёртвому порту. С раннего утра рисовальщики спешили занять свободный простенок, чтобы явить миру свои холсты. Здесь не водилось гениев и мастеров, выпестованных в Художественной Академии. Круадор осаждали самоучки в поисках мимолётной уличной славы.

Среди плоских портретов и несуразных пейзажей Баклавский краем глаза углядел что-то необычное. Совершенно безумный горбатый человек со щеточками кистей разного калибра, вживленными под ногти правой руки, по-клоунски скакал перед целым каскадом миниатюр, только что не хватая прохожих за руки.

Его картинки казались похожими как близнецы — на каждой разноцветные кубы разных размеров пересекались, толкались, перетекали друг в друга без видимого смысла. Художник не озаботился даже тем, чтобы подобрать своим творениям пристойные рамки — неровно обрезанные куски картона размером с почтовую открытку смотрелись дико среди позолоченного резного великолепия Круадора.

— Как называется эта? — наугад спросил Баклавский, пытаясь поймать какую-то закономерность в серебристо-синей шахматной мешанине.

— Это — "Зима над океаном", — обрадовался вопросу художник. — Я больше всего люблю маринистику. Глаз смотрит, а душа отдыхает. Сначала у меня, пока рисую, а потом у вас — каждый раз, как соизволите задержать взгляд.

— И как тут разобрать, где океан, где что?

Художник пожал плечами:

— Я так вижу.

— И как, покупают? — Баклавскому показалось неудобным уйти сразу.

— За бесценок, — рассмеялся горбун. — Студенты в основном. Для подарков, когда с деньгами туговато.

— И сколько такая "Зима" стоит? Накануне зимы?

— Семнадцать монет, — прищурился художник, оценивая состоятельность Баклавского. — Но отдам за пятнадцать… Хотел сказать, за тринадцать.

Горбун совсем поник, понимая, что вряд ли случайный буржуа раскошелится на его мазню.

— И еще, — добавил он, — возьмите лучше другую.

Привстав на цыпочки, из верхнего ряда картинок выщепил уверенным движением одну, видимо, на самом деле отличая ее от прочих.

— Тринадцать — плохое число, — сказал он, — лучше четырнадцать. Называется "Киты уплывают". Подписать?

Баклавский и сам не заметил, как превратился в покупателя. Отдал десятку и пятерку, отрицательно покачал головой на попытку художника порыться в карманах в поисках сдачи. Тот в меру учтиво приложил руку к груди.

— Обязательно подписать, — необидно рассмеялся Баклавский. — Станете знаменитым — продам ее с аукциона, обеспечу себе спокойную старость.

Горбун, ткнув кисточкой указательного пальца в лежащую на стульчике палитру, черканул размашисто на обороте.

— Положено бы в углу, на самой картине, да они у меня очень маленькие.

— А что ж без фамилии? — спросил Баклавский, расшифровав замысловатую загогулину.

— А меня всегда зовут просто по имени, — ответил художник. — Пабло — и всё. До фамилии еще дорасти надо.

Картонку он аккуратно обернул газетной бумагой, и черно-синие кубики, закрученные в белые буруны, скрылись под суетливым шрифтом "Бульварных новостей". Над уплывающими китами теперь рекламировали зубной порошок, объявляли о суде над неким Айртоном Сезвиком, предлагали деньги за информацию о Диком Ирландце. Будто китов и не было.

— *Таких* китов можно было сторговать за пятерку, — заметил Май, когда они сели в мобиль.

VI. Мертвый порт

Нет ничего неприятнее, чем выпускать из рук верную добычу. За сорок минут тщетного ожидания Баклавский несколько раз пытался уснуть, оккупировав удобное савишевское кресло. Но спасительная дрёма не пришла. Ответ из Дворца — тоже. И старик-инженер подвел.

Ровно в четыре часа пополудни Баклавский подошел к телефонному аппарату и соединился с головной конторой службы. Сухо приказал старшему патрульному снять охрану с площадки досмотра и обеспечить погрузку задержанных ранее контейнеров торгового дома "Любек и сыновья". Да, на их судно.

Нет, не препятствовать. Да, в графе "результат досмотра" проставить "отсутствие разрешения на снятие пломб".

Выпил чаю.

Переоделся из смокинга в форму.

Сверил с Савишем отчеты за неделю.

Зачем-то вышел на пустую площадку досмотра.

Здесь, в Мертвом порту, всё выглядело иначе. Ни одного крупного судна не швартовалось у покосившихся причалов, не мельтешили сиамские джонки, полдюжины китобойных баркасов вразнобой покачивали мачтами на легкой зыби, которую, тем не менее, не мог погасить слишком короткий волнолом вдали, у маяка Тенестра.

Из-за облаков чуть правее Монте-Боки проглядывало уставшее октябрьское солнце, высвечивая на берегу то одно, то другое здание. Белые и красные буи фарватера двумя редкими змейками утягивали взгляд в открытый океан. Вправо по берегу горбились унылые серые сараи складов, с прорехами в крышах, сорванными с петель воротами, проломленными пандусами. В разговорах никто не звал это место Стаббовыми пристанями, ведь адмирал Стабб уже давно мертв — как и созданный им порт.

Еще дальше, за брошенными складами, к воде подступала паутина сетей. Нехороших сетей, особых. Современная наука не признавала очевидный факт их существования. Прогресс, оседлавший пар, подружившийся с металлом, углем и нефтью, пасовал перед вереницей узелков, выходящей из-под пальцев слепых девушек. Необъяснимые, а значит неподконтрольные силы заставляли китов отворачивать от сетей плетельщиц, так волк не рискнет пересечь линию флажков. Только кит — не волк…

А Кетополис делал вид, что не существует самого этого заколдованного места — Плетельни. И многие, в том числе Баклавский, старались забыть о городе в городе, огромном квартале, огороженном сетями на берегу старой бухты. Вход куда без приглашения невозможен.

Стало зябко. Баклавский всё всматривался вдаль, где бесконечные сети подрагивали на тонких белых шестах. Хотя он искал встречи с Белой Хильдой, еще вчера не приходило в голову, что придется зайти в этот лабиринт. Время шло к шести, и до прогулки в Плетельню оставалось всего ничего.

— Ежи, — Савиш неслышно подошел сзади. — Там "пневма", из порта перекинули. На твое имя. Да не переживай ты из-за этих контейнеров, в самом деле!

Баклавский еще раз обежал взглядом бухту. Маяк подмигнул ему хищным красным глазом. Любековский сухогруз уже больше часа, как миновал старую бухту и ушел на север. Увозя в трюмах

так и не опознанные "ВиПи" и "ЭсЭф", о которых, спасибо Одноногому, начальник Досмотровой службы Кетополиса даже знать не имел права.

Чанг, зная привычки шефа, снова заварил крепкий чай, и поставил серебряный поднос на стол в кабинете Савиша.

Капсула "лично в руки" была не простая, а с черно-желтой каемкой и наполовину стершейся каракатицей на боку. Уголовная полиция.

Баклавский свернул крышку и выудил пальцем свернутый трубочкой листок. Развернул, прочел. Еще и еще раз.

Текст отличался знакомой лаконичностью:

"Лучше ты ко мне, чем я за тобой.
Мейер.
P.S. Ежи, старина, во что ты вляпался?!"

Ниже был приписан номер телефона.

Баклавский придвинул аппарат. Савиш куда-то вышел. На том конце ответили сразу, жизнерадостно и слегка запанибратски:

— Уголовная!

— Следователя Мейера, пожалуйста!

— Он на выезде. С помощником соединить?

Баклавский не рассчитывал, что Мейера может не оказаться на месте. Старый, но не забытый друг, четверть века назад протиравший штаны за соседней партой в Механическом колледже, пытался предупредить о неприятностях.

— С помощником соединить?..

И, уже подозрительнее:

— Кто его спрашивает?..

А во что — вляпался? Баклавский, чувствуя, как резко заколотилось сердце, бросил трубку на рычаг. Во что я мог вляпаться? Вся моя работа — одно сплошное балансирование на шатком помосте. Но "вляпался" — это не обычные обвинения в содействии сиамским контрабандистам. План по конфискату всегда выполняется вдвое, в обеих бухтах покой и порядок — не то. Кто-то видел в порту Зоркого? Плохо, но не смертельно. Мне не за что трястись, но откуда же это мерзкое предчувствие?

Еще одна капсула вылетела в лоток приемника, и колокольчик заставил Баклавского подпрыгнуть. Протянул руку, повернул цилиндр торцом к себе. Это письмо тоже адресовалось не Савишу, а ему. Обратный адрес пятизначный — значит, от частного лица, — и смутно знакомый…

Кит побери, наконец, сообразил Баклавский, от моего домашнего номера отличие только в последней цифре!

"Уважаемый сосед!"

Крупные безупречные буквы — как морские пехотинцы на параде, одна к одной, — выдавали руку чертежника со стажем.

"Уж не обессудьте, что провозился с Вашей просьбой дольше, чем предполагал. Задали старику задачку, ничего не скажешь, прямо-таки головоломного свойства.

Тем большее удовлетворение я получил, когда искомые ответы были найдены, пусть и совершенно не там, где Вы предлагали искать. Надеюсь, что вернете Вашему покорному слуге чок-дэ, скрасив его одиночество неспешной беседой у камина под хороший херес или бренди, на Ваше усмотрение. Камин уже есть, дело за правильным напитком".

Вот старая перечница, развеселился Баклавский.

"Итак, перейду к делу: VP-4705. Пневматический клапанный блок распределения давления. Сменная часть агрегатов для горнопроходческой техники.

VP-4711…"

Баклавский вчитывался в каждую строчку, выложив на стол рядом с письмом блокнот, чтобы сверяться со списком. Похоже, здорово рвануло в Ганайских копях — пневматика, механика, гидравлика — узлы всех типов шли на замену разрушенным. "Для горнопроходческой техники".

Поэтому когда Баклавский добрался до последних пяти записей, то сначала долго раздумывал, для чего может применяться "SF-7520. Блок протяжки формирующей ленты для подачи цилиндрических объектов диаметром не более 1,5 см." при добыче угля. И потом уже прочел строчку до конца.

"Компонент оснастки боевого шагающего автоматона".

— Савиш!!! — заорал Баклавский и опрокинул стакан с чаем на зеленое сукно.

Солнце уже клонилось в объятия океана, почти уперевшись в черную колонну маяка Тенестра. Патрульные один за другим спрыгивали с пирса на громыхающий борт "Стража" — единственного судна Досмотровой службы, предназначенного для открытой воды. В котлах глухо рокотала вода, над спаренными трубами дрожал почти прозрачный дым.

— Точно обойдешься без Мая?

Савиш кивнул:

— У "Стража" свой капитан и штурман. Маю скучно будет. Нагоним мерзавцев часа через два. Через три — максимум. Два предупредительных, третий на поражение. Развернем как миленьких.

Баклавский придержал его за локоть.

— Все разговоры в команде — пресекай. Здесь какая-то история… гнилая и опасная. Побереги ребят, пусть просто делают свое дело. Приведи сухогруз назад, сразу под разгрузку. Я от Хильды наверняка успею добраться в Новый порт, но, если что, сбивай пломбы и вскрывай всё. Под мою ответственность. Все бумаги будут подписаны. Задача ясна?

Савиш с серьезным видом козырнул.

— Не сомневайся, Ежи, прищучим. И пусть нам потом хоть погоны рвут!

Перепрыгнул на палубу "Стража". Еще раз насупленно и преданно взглянул на Баклавского. Забурлили винты, зазор между бортом судна и пирсом стал расти, открывая неспокойную воду, машина, судя по звуку, встала на ход, и, "Страж", чуть зарываясь в резкую встречную волну, двинулся к выходу из бухты.

На причале остались Баклавский, Чанг, Май и двое патрульных из здешней конторы. Между пирсами альбатросы затеяли драку из-за всплывшей кверху брюхом кефали. Солнце раскололось о маяк пополам.

Откуда же тревога, подумал Баклавский. Ну, не боишься же ты слепую Хильду? Не время для детских страхов — сейчас, когда закрутилось сразу столько важных дел. Вопросы надо закрывать по одному. Сначала — Плетельня. Потом — Любеки. Потом…

— Господин инспектор, — еще один патрульный торопливо сбегал по ступеням, — звонят из головного: вам "пневму" еще сюда перебрасывать, или вы уже уезжаете?

— Пусть шлют, — сказал Баклавский. — Прочту, когда вернусь. Чанг, мобиль?

— В готовности, шеф.

— Тогда не будем тянуть.

VII. Плетельня

— Давайте, я с вами! — еще раз настойчиво предложил Чанг. — Не то место, куда можно идти в одиночку.

Мобиль остановился на замусоренной пустынной улице Ножницы, зажатый как в тисках между брандмауэром доходного дома и стеной склада жиров и масел. За спиной тикал податчик, скидывая в топку угольные брикеты. Дрожи от работающего двигателя почти не чувствовалось — сиамец отладил машину собственноручно. Впереди дорога расходилась двумя кривыми рукавами. Правый уходил вверх, и втыкался в одну из

оживленных улиц Слободы. Баклавскому был нужен левый.

— Меня ждут, Чанг. Одного, так что не стоит их злить — мы слишком долго искали этого контакта.

Чанг укоризненно покачал головой.

Баклавский чуть повысил голос:

— Если бы мы захотели войти без приглашения, то даже всем нашим гарнизоном не продвинулись и на сто метров. Чем бы ты мне помог один? Красиво умереть?

— Извините, шеф, — склонил голову сиамец. "До свидания, дядя Кноб Хун". Очень похоже.

— Вон там, на углу, есть кофейня Лукавого. Я приду туда. Здесь не жди — можно и без мобиля остаться. В кофейне есть телефон, я позвоню в контору, в Мертвый порт. Думаю, часа через три. Задача ясна?

— Так точно, — кивнул Чанг. — А я пока разузнаю, что еще за соплеменник за нами весь день таскался.

Баклавский спрыгнул с подножки, стараясь не влезть в грязь. Прыгая с камня на камень, пересек колею, и вдоль стены склада двинулся к развилке. Только когда он повернул к Плетельне, Чанг дал задний ход, и Баклавский остался один.

Из Слободы доносился обычный вечерний шум — лоточники торопились до темноты сбыть товар, кто-то горланил разухабистую "Китёнку", газетчики перекрикивали друг друга. Звуки долетали лохмотьями: "…Рыв!….Вар!…Паж!.." Опять чей-то экипаж подорвали на бульварах, сложил слоги Баклавский. Уже и недели не обходится без бомбы или газовой атаки. Добро пожаловать в Кетополис…

Стоило пройти чуть дальше по уходящей влево под уклон дороге, как гомон Слободы затих, и проснулся порт. Истошно перекликались альбатросы, вопили склочные чайки, шуршащий метроном прибоя отсекал каждые десять шагов.

Под ногами хрустела кирпичная крошка. Пыльные окна мутно блестели закатом. Из подворотен и проулков потянуло ночным холодом. На углах домов лохматились седым мхом рваные выцветшие объявления. И ни души.

За поворотом картина изменилась. Расступились здания, открывая небольшую площадь. Но у последнего дома из земли торчал кол. Новенький белый блестящий кол, крепко вбитый вкось между камнями брусчатки. За него цеплялась сеть. Через крупную ячейку, сантиметров двадцати, проплыла бы почти любая рыба. Сеть по диагонали перерезала улицу, сужая выход на площадь до двух-трех шагов. До нее почему-то не хотелось дотрагиваться.

Волей-неволей Баклавский прижался к противоположной

стене. Сразу за углом дома перпендикулярно к первой сети тянулась вторая. Среди высоких, раза в полтора выше человеческого роста, кольев Баклавский ощутил себя мухой в паутине. Пальцы сами сжались на рукояти револьвера.

Между первой и второй сетью был проход, но не шире размаха рук. За этими сетями проглядывали другие, но стоило попытаться посмотреть насквозь, как сразу зарябило в глазах — так иногда бывает, когда слишком долго смотришь на шахматную доску. Поворот, еще поворот, и Баклавский погрузился в лабиринт сетей.

Крики птиц вязли как в вате. Здесь и собственного голоса не услышать! Опять приполз страх. Почему меня не встречают? Или встречают? То и дело хотелось оглянуться, потому что отовсюду чудились шаги, голоса, незнакомые звуки.

За спиной послышался странный звук, будто осыпается земля. Баклавский развернулся и увидел, что там, где только что был проход, скрещены белые колья в паутине сетей. Входную дверь за ним заботливо закрыли.

Над ухом кто-то хмыкнул. Баклавский, не удержавшись, выхватил револьвер.

— Стоять, не шевелиться! Досмотровая служба!

В ответ — лишь смех. Из ниоткуда, но близкий-близкий.

Баклавский поднял оружие перед собой. В ушах гудело, вид темнеющей паутины вызывал тошноту. Но он же не сам пришел!

— Не шевелитесь, иначе я могу выстрелить! Пожалуйста, выйдите ко мне. Если можно, так, чтоб были видны руки. Мне назначена встреча госпожой Хильдой. Будьте любезны, проводите меня к ней!

Ответом ему стал шепот.

— Хорошшшшо…

Не понять, говорил то мужчина или женщина. Хриплый, лишенный интонации голос.

— Хорошо, что сестра Энни будет отмщена столь скоро…

Два или три громких шага, тень сместилась, но не понять, влево или вправо.

— Мне назначено… — еще надеясь на что-то, повторил Баклавский. — Белая Хильда ждет меня, слышите?

И снова смех. Баклавский сместился вдоль сети, пока не нашел проход, столь узкий, что пролезть в него можно было только боком. Шесты с сетями торчали под самыми разными углами, и опять зарябило в глазах. Последние розовые облака в вышине стали меркнуть, наливаться сизым, и в облачной прорехе проклюнулись первые звезды.

Баклавский заметался по лабиринту, пытаясь либо отстать от

попутчиков, либо оказаться с ними лицом к лицу. Но тщетно.

Со всех сторон, и не понять, откуда, его настигал шелест, эхо шагов, тихие насмешливые голоса. Узкие ступни уверенно нащупывают покатые камни. Тонкие руки цепко держат прямые и острые как бритва бамбуковые пики. Тонкие пальцы касаются заколдованных узелков, помогая своим слепым хозяйкам удерживать равновесие и не сбиваться с пути.

Это я здесь незрячий, понял Баклавский, затравленно озираясь, поводя стволом револьвера влево и вправо. За окружающими его сетями проглядывали следующие, растянутые под таким странным углом, что… нет, лучше просто не смотреть…

Снова шаги где-то рядом, и приглушенный кашель, и призрачный смех. На расстоянии вытянутой руки по ту сторону сети возникла смутная тень. Баклавский рванулся вперед, но как только пальцы просунулись в неправдоподобно широкую ячейку, что-то впилось в сердце, когтистое, сосущее, раздирающее его на куски.

Баклавский нелепо, по-заячьи, вскрикнул, и рухнул на колени, прижав к груди быстро немеющую руку. Перед глазами заплясали искры, целые полосы, перекрученные узоры искр, и он опустился на один локоть, пытаясь сдержать рвущееся из груди сердце. Потом лег на спину. Мутная луна, наполовину закрытая облаком, напоминала сиамский рыбацкий тесак.

— Тут он, тут… — заговорили где-то над головой.

Баклавский, не целясь, выстрелил на звук. Звонко и хлестко пуля срикошетила от кирпичной стены дома на краю площади.

— Рыпается, — безо всяких эмоций произнес тот же голос, явно мужской, и нестерпимая боль зажглась черной звездой в правом боку. Баклавский зырычал, выронил револьвер, и попытался встать, но косой удар кулаком в лицо отшвырнул его в объятия мостовой. Луна глумливо подмигнула ему и погасла.

— Мне передали, что вы хотели видеть меня, господин Баклавский.

Когда удалось разлепить глаза, то сначала показалось, что он — пчела, заблудившаяся в сотах. В шестигранных ячейках сетей прятались стены и пол… нет, потолок. Онемевшие руки выдали мозгу свою порцию боли. Тугие шнуры стянули запястья и щиколотки. Как тогда…

— Поджарим белого мальчика, — загоготал кривозубый мучитель. — Одно бедрышко съедим сами, а задницу и окорочка продадим на пирожки в Пуэбло-Сиам!

Ежи дернулся, но жердина, к которой его подвязали как

животное, лишь больнее вонзилась в предплечья. Голени превратились в сплошной синяк.

Курсанты, бодро волочившие его по огородам Поймы, явно были старше года на три. У старшего ублюдка, издевающегося над связанным школяром, на рукаве блестели нашивки третьего курса навигацкой школы. Неужели они захватили флаг, подумал Ежи.

Когда гардемарины пошли на штурм крепости "механиков", началась сутолока, и атака сразу распалась на десяток отдельных потасовок. Ежи спихивал тяжелыми ботинками всех, кто пытался влезть на "южный вал" — полуразрушенную стену бывшей красильни. Но потом кривозубый ухватил его за ногу, секунду спустя выбрался на "вал" прямо перед Ежи, и росту в нем оказалось — как в Капитане Громе.

Ежи прыгнул на гардемарина, надеясь, что тот потеряет равновесие, но детина лишь радостно загоготал, и перехватил Баклавского за локти. Потом безо всякого усилия приподнял, и под улюлюканье навигацкой шоблы скинул вниз.

— Спеленайте-ка этого штифта ретивого! — крикнул он, на Ежи сразу навалились, прижали, и вот теперь, подвешенного за руки — за ноги, раскачивающегося вниз головой из стороны в сторону, уволакивали всё дальше от спасительной крепости. Нет, флаг не взяли, понял Ежи, иначе не стали бы возиться со мной.

Высокая трава стегала по лицу, колоски и метелки кололи щеки, перевернутый забор казался опускающейся челюстью кашалота. Вдалеке, за мохнатой пеленой камышей, угадывались контуры двенадцативесельной навигацкой шлюпки. Из китовой пасти да к другой напасти, подумал Ежи. Очень уж не хотелось думать, что гарды могут в самом деле увезти его к себе на остров.

Бесконечные заборы, кривые как зубы навигацкого заводилы, вдруг расступились, под сапогами где-то рядом с лицом зачавкала грязь, холодные брызги попали за шиворот.

— Уснул, что ли? — рявкнули сзади — видимо, сидящему на корме шлюпки гардемарину. — Табань ближе, мы с трофеем!

Черная фигура на корме шлюпки повернулась к прибывшим, и сделала неожиданный, но очень понятный жест правой рукой. Кривозубый, оступившись, шагнул назад, а из камышей начали подниматься рыжие куртки "штифтов", и шест, к которому был привязан Ежи, вдруг оказался не только никому не нужным, но и явной обузой.

— Бей "селедок"! — столько раз слышанный за два последних дня призыв, наконец, превратился в руководство к действию. Гардемарины, лишенные пути к отступлению, заметались по берегу, "механики" валили их в прибрежный ил, замелькали

кулаки и скрученные полотенца, единственное признанное законным оружие.

А Ежи просто бросили там, где тащили, и вода мгновенно прожгла сквозь одежду, и ни крикнуть, ни вздохнуть, и неужели придется вот так глупо — здесь и по колено-то нету — закончить жизнь в мутной воде Баллены? Баклавский подтянулся, пытаясь высунуть хотя бы нос на поверхность.

— Октавио! — закричал он. — Помоги!

Остенвольф как раз нагнал кривозубого и наотмашь достал его скруткой по уху, от чего тот поскользнулся и рухнул вперед на руки, тут бы и доделать дело…

— Помо!.. — конец шеста выскользнул из травяного ковра, взмыл в воздух, и Ежи снова завалился назад головой под воду.

Сразу три пары рук дернули его вверх, холодный ветер лизнул в шею, и, кит проглоти, как хорошо дышать! Ежи глупо улыбался, пока Октавио держал его под мышки, Казимир, то и дело вскидывая голову, чтобы волосы не лезли в глаза, распускал мудреные морские узлы на запястьях, а переодетый гардемарином Мейер своим фирменным базельским ножичком перепиливал веревки, стянувшие ноги…

Выжил же, вспомнил Баклавский. Нахлебался вонючей балленской водички, но выжил. Правда, здесь не колледж с его детскими забавами. Каждый вздох отзывался в боку тупым сверлом. Кровь из рассеченной брови заливала правый глаз, и Баклавский сквозь розовую пелену следил за высокой статной женщиной, прохаживающейся туда и сюда по опутанной сетями комнате. Волосы, достойные Снежной Королевы, струились по прямым плечам, сливаясь с безупречно белым шелком платья.

— Не хотите меня развязать, Хильда? — спросил он. — Вы странно встречаете гостей.

Королева Плетельни обернулась к Баклавскому, и на короткий миг ему показалось, что он поймал ее взгляд. За полуприкрытыми веками Хильды, как и у всех плетельщиц, виднелась лишь узкая полоска белков, зрачки путешествовали где-то под бровями.

— Развязать? — голос ее оказался бесцветным и пустым, как брошенное осиное гнездо. — Вас?

— Ваше письмо, — сказал Баклавский, стараясь, чтобы от боли не дрогнул голос. — Энни передала мне его на словах. Я пришел по вашему приглашению.

Хильда замерла, и почти минуту стояла неподвижно, прислушиваясь неизвестно к чему. Ей сто лет, понял Баклавский. Нет, двести. Старой белой паучихе двести лет. Она вообще не человек. Как я сюда попал? Чего я надеялся добиться этим

долгожданным разговором?

— Я не собиралась беседовать с вами, — наконец сказала она. — Мы живем очень замкнуто, господин Баклавский. За пределами порта и слободы у нас есть глаза и уши, но нет ни рук, ни кулаков. Поэтому нам не от кого ждать помощи. Мы не доверяем никому, и нам нечего с вами обсуждать. А вы подкрались к несчастной Энни, а когда она напрямую сказала вам об этом, ваша гордость не позволила просто проглотить отказ. Меня не интересует, чьими руками вы действовали. Наша лучшая плетельщица убита, разорвана бомбой на куски, а у человека, повинного во всем этом, хватает наглости без приглашения ломиться в наш дом. Вы зря пришли сюда, господин Баклавский.

Во рту стало сухо-сухо. Сейчас тяжелеющее тело просто выдернет онемевшие руки и ноги из суставов, и клейким студнем, безвольным холодцом расплещется по полу. Убита! "И даже жизнь оставив на кону…", тонкие пальцы в его руке, напряженный силуэт на фоне сцены… "Мы гибнем, у иллюзии в плену". Убита!

— Хильда, вы ошибаетесь, — сказал Баклавский. Мы говорили с Энни… договорились, что вечером я встречусь с вами. После этого я сразу ушел из театра. Я даже не знал, что это ее экипаж пострадал…

— Экипаж? — в голосе Белой Хильды явственно зазвучала угроза. — Экипаж? Железная коробка на колесах? Вы поняли, что сделка не состоится, что Плетельня не собирается открывать вам двери, и отправили мне весточку. Мою девочку, мою Энни — кусками. Ваша чок-дэ оставила вас, господин досмотровик. Рауль!

Где-то вне поля зрения скрипнули половицы, и над Баклавским нависло широкоскулое ассиметричное лицо. Хильда отвернулась к стене, и в комнате словно стало еще темнее.

— Здравствуй, мяско! — тихо и миролюбиво сказал Рауль. В его глазах можно было разглядеть бескрайние просторы моря, океан без берегов, ночное небо с миллионом звезд… Всё, кроме разума. — Скоро ты узнаешь, что такое "больно".

Баклавский трепыхнулся, пытаясь отстраниться от страшных глаз, выпростать хотя бы одну руку или ногу. Тщетно.

— Наши дочери никогда не становятся плетельщицами, — сказала Белая Хильда. — Они неизбежно уходят в мир, и забывают нас навсегда. А наши сыновья обречены стеречь покой Плетельни. Поэтому им не стать ни великими учеными, ни бравыми адмиралами. Так сложилось. Жизнь такова, какова есть. А сегодня так сложилось, что мы попрощаемся с вами, Баклавский. И Пуэбло-Сиам, и Новый порт, и Стаббовы пристани вздохнут с облегчением. Вы опутали липкой сетью маленьких одолжений целый город. Но в Плетельне ваши правила не

действуют.

Еще один моряк вошел в комнату, и шест, на котором висел Баклавский, взметнулся вверх и лег на чьи-то плечи. Рана в боку расцвела огненным цветком.

— А эту девочку я выкупила у подземных совершенно случайно. Маленькая смышленая и еще зрячая малышка вязала им шарфы да шапки, сидя где-то в пещерах под Механическим. Один из моих сыновей купил на базаре платок, сделанный руками Энни. Никто не верил, что такого совершенства может достичь шестилетнее дитя, к тому же уродка.

Баклавского понесли. Хильда шла рядом, едва не задевая его лицо широкими шелковыми складками юбки.

— Когда мы выторговали ее у подземных, Энни была уже на грани слепоты. Не слишком-то много она и стоила, вправду сказать. Только двадцать лет спустя разве это имеет значение?

Под ногами носильщиков загудели чугунные ступени. Баклавского пару раз приложили головой о перила. Свело икру, но кричать уже просто не было сил. Хильда не отставала от процессии, хотя и задышала тяжело. Ее речь иногда превращалась в бессвязное бормотание — собеседник ей и не был нужен. Это реквием, подумал Баклавский. Не по несчастной плетельщице, а по мне. И не выскочат из камышей удалые "штифты", и Мейер не переоденется матросом с веревкой в ухе… Как глупо…

Длинный узкий тоннель вел всё вниз и вниз. Здесь стены не декорировались сетями — мутные известковые потёки были единственным украшением сводов. Куда это? Неужели к подземным? Один из тех ходов, за информацию о которых полиция сулит золотые горы…

— …Узелок к узелку, и нить к нити. Энни, моя малышка, моя лучшая девочка…

Заскрипели засовы, и спереди потянуло затхлым и совсем незнакомым воздухом. Блеснул свет фонаря. Чужие, совсем чужие шаги приближались оттуда, из-за потайной двери.

— …Прилежность и усердие могут победить всё. Четырехпалая уродка, подземная калека, гадкая уточка — она выросла и превратилась в прекрасного лебедя. Вам не стоило ее убивать, Баклавский. Прощайте.

"Я буду держать вас за руку, Ежи, так нам будет легче понимать друг друга".

— У вашей Энни было пять пальцев, — прохрипел Баклавский. — Всё вы врёте, Хильда.

И потерял сознание.

Когда в рот плотно вбита пахнущая китовым жиром дерюга,

то приходится молчать, потому что мычание недостойно мужчины. Когда локти, плечи, колени и бедра накрепко прикручены к холодной раме кровати, дергайся не дергайся — не вывернешься из-под этих рук, холодных и безжалостных. Наверное, в другой ситуации они бывают мягкими и нежными, гладят, ласкают, дразнят… Но сейчас цепкие как птичьи когти пальцы ковырялись в залитом кровью боку.

Баклавский только пучил глаза, когда игла входила в край раны, когда шершавая нить бесконечно тянулась сквозь его плоть, стежок за стежком стягивая сочащийся сукровицей разрез. Девушка штопала бок инспектора в полутьме, запрокинув голову, лишь кончиками пальцев изредка проверяя, как идет работа. Вытерпеть можно всё, но до чего же страшно видеть эти мутные белки, закатившиеся глаза, подрагивающие ноздри молодой плетельщицы!

Пытаясь отвлечься от боли, Баклавский перебирал в уме все подробности встречи в театре. Но вместо разговора вспоминалось лицо Энни, ее теплеющая ладонь, высокомерная и отрешенная улыбка, жадные взгляды гардемарина. Девочка, кто ты? И зачем ты захотела меня убить? Убить верно и изощренно, отправив на верную смерть… Не настолько я неуязвим, чтобы ради моей персоны строить такие сложные комбинации…

И снова игла огненным шипом погружалась в кожу, и вместо полумрака ложи вспыхивали все софиты сцены, и сломленный Тушинский, стоя на коленях у ног Изабеллы, устремлял свою мольбу в такую высь, что вслед за ним головы зрителей сами задирались к потолку:

— "Смотрите, чудный свет! Нас небеса
Манят, ласкают взор безбрежной синью!
Но нет туда пути для Коральдиньо…"

А когда боль немного отпускала, то Баклавский начинал захлебываться собственной слюной — рот ему растянули так, что глотать было почти невозможно.

Вошел Рауль. Остановился у изголовья. Долго и пристально смотрел в лицо, будто разбирая его мысленно на кусочки. Нехороший, вивисекторский взгляд. Чтобы не встречаться с ним глазами, Баклавский рассматривал веревочную серьгу моряка.

— Не думай, что ты отвертелся, гадёныш, — прошептал моряк. — Я всё время у тебя за спиной.

Поверх стянутого шва плетельщица положила кусочек мелкоячеистой сетки, почти бинт, с той разницей, что каждая нитка в этом произведении искусства связывалась с соседней

неповторимым узлом. Баклавский, скосив глаза, наблюдал, как плетельщица уверенными движениями продергивала концы ниток в тонкую кривую иглу, и тут же пропускала ее через его кожу, фиксируя сетку на ране. По сравнению с болью сшиваемой плоти эти уколы казались комариными укусами. Через минуту плетеная повязка закрыла шов, и бок начал странно неметь.

Из-за спины молодой плетельщицы появилась Хильда, опустилась в подставленное кресло. Рауль грубо сдернул веревки с лица Баклавского и вытащил кляп.

— То, что говорят о вас в городе, Баклавский, — с презрением заговорила Белая Хильда, — не дает никаких оснований доверять вам. Но что-то подсказывает мне, что даже ваша ложь может оказаться интересной. Не обольщайтесь тем, что мы вернулись в Плетельню. Под землей вас по-прежнему ждут. Это ясно?

Уже и на страх не осталось сил — только на недоумение: за что? Баклавский кивнул.

— Стелла немного привела вас в порядок, чтобы ваш рассудок был чист и открыт. Я готова потратить три-четыре минуты, если вы думаете, что сможете меня чем-нибудь удивить. Расскажите мне о вашей встрече с Энни.

И Баклавский начал рассказывать.

Пока он говорил, Стелла быстро и ловко что-то плела из длинного куска шпагата. Пальцы мелькали так быстро, что ни запомнить движения, ни просто рассмотреть то, что росло в ее руках, было решительно невозможно.

Хильда часто переспрашивала и уточняла детали. О записке, о плетельщице, о сопровождавшем ее моряке. О людях в противоположной ложе. От ее отрешенности не осталось и следа. Перед Баклавским сидела мудрая властная женщина, чьими стараниями целый кусок Кетополиса сохранял особый статус на протяжении многих лет. И сейчас эта женщина хотела найти виновных.

Когда Баклавский закончил, она долго молчала, не глядя на пленника.

— Браслет готов, — сообщила Стелла, почтительно замерев у Хильды за спиной.

— Не скрою, Баклавский, — сказала королева Плетельни, — вы заронили в мою душу зерно сомнения. Если рассказанное — правда, то мне жаль вас. Ваши враги изощренны и бесчестны. Охотясь за одной вашей жизнью, они пренебрегут сотнями других, что навсегда покроет позором ваше имя. А верный друг уже ударил в спину, трусливо, как шакал, подкравшийся к раненому волку.

Баклавский слушал старуху, затаив дыхание.

— Если же сказанное вами — ложь, то мне жаль вас вдвойне. Физические страдания, через которые вам суждено пройти, не описаны ни в одной книге — такому просто нет свидетельств. Стелла!

Молодая плетельщица обошла кровать, и обвила запястье Баклавского тонким веревочным браслетом. Когда она затянула узел, соединив плетеные концы, Баклавский закричал. Вернулась та самая боль, которую он постиг, пытаясь просунуть руку сквозь сеть. Тысячи игл вонзились в сердце, в легкие, в горло, и продернули через них шершавый шпагат.

Баклавский решил, что уже умер, но боль улеглась, утихла. Лишь под браслетом руку ломило и жгло.

— Я завязала мой подарок гарпунным узлом, — ощерив зубы, сказала Стелла. — Если захотите снять браслет, лучше просто выпустите себе кишки — это будет гораздо милосерднее. А на руку не обращайте внимания. Правда, завтра будет болеть уже по локоть, а послезавтра — по плечо. А потом вы умрете.

— Энни и Стелла были как сестры, — пояснила Хильда. — Простите ее, если браслет получился не очень удобным, она сейчас немного не в себе.

— Что вы хотите? — просипел Баклавский, пытаясь выкрутить руку из обжигающей веревки.

— Найдите моряка, — сказала Хильда. — Найдите моряка и приведите его к нам. Впереди три длинных дня, а у вас — прекрасный повод, чтобы не затягивать поиски. Помогите нам, Баклавский.

VIII. Кето, вид с моря

Странный посетитель ввалился в кофейню "Западные сласти", чаще именуемую по имени хозяина. То ли пьяный, то ли одурманенный кокаином офицер из "кротов" плохо держался на ногах. Черная шинель под правой рукой была разорвана, и даже перепачкана чем-то бурым. Обычно такие офицерики ищут, где бы дозаправиться, могут и драку учинить, и посуду побить, а западный фарфор нынче в цене! Круглощекая дочка Лукавого, взглянув на посетителя из-за медной кассовой машины, тут же нажала под прилавком кнопочку звонка.

Отец появился без промедления, но, увидев посетителя, не попытался вежливо выпроводить его, а, напротив, пошел навстречу, приветственно разводя руки:

— Господин Баклавский, какими судьбами? — И, уже приблизившись, спросил гораздо тише: — Что стряслось? Помощь нужна?

— Давно не виделись, Лукавый, — пожимая руку бывшему контрабандисту, сказал Баклавский. — Ерунда, не беспокойся. Мне бы нешумное место без лишних ушей и телефонный аппарат. И рому.

— Конечно, конечно… — Лукавый засуетился, провел мимо стойки, через кухню в хозяйские комнаты, усадил Баклавского к камину и пододвинул телефонный столик. — Никто не помешает, господин Баклавский, будьте покойны.

— Почти, — непонятно усмехнулся инспектор.

Дочка хозяина внесла поднос с хрустальным графинчиком, низким толстостенным стаканом и чашкой дышащего паром кофе.

— Вы тот самый Баклавский, да? — спросила тихонько, чтобы не услышал отец, торопливо зашторивающий окна. — Папа говорит, вы его судьбу спасли!

— Преувеличивает, — сказал Баклавский.

Лукавый цыкнул на дочь, зачем-то поклонился, и вывел ее из комнаты, плотно закрыв за собой дверь. От камина накатывало умиротворяющее тепло. Сейчас усну, отрешенно подумал Баклавский, и пусть всё катится киту под хвост. Но жгучий браслет сразу напомнил о себе. Так. Надо сосредоточиться.

За окнами вовсю шло гулянье — Слобода знала больше праздников, чем рабочих дней. Где-то бренчали китарры, выводила незамысловатые мелодии гармоника. Потрескивали в огне осиновые полешки. Каминные часы начали отбивать

десять… Баклавский вскинулся — надо же, всё-таки уснул! Налил из графина почти полный стакан, задержал на секунду дыхание, и залпом выпил. Ароматное пламя опустилось в желудок. Глоток терпкого кофе помог окончательно открыть глаза. Ах, Лукавый-стервец, поразился Баклавский, драгоценной бирманики для дорогого гостя не пожалел!

Сначала он позвонил в порт и сказал Чангу выезжать за ним. Помощник так обрадовался звонку, что Баклавский едва сдержал улыбку.

Потом настал черед Мейера.

— Уголовная!.. — и тут же придурковато-бодрый голос сменился другим, чуть гнусавым, дерганым, усталым:

— Здесь Мейер. Слушаю вас.

— Привет, сыщик! Это Ежи.

— Секунду!

Было слышно, как на том конце провода хлопнули дверью. Потом Мейер заговорил негромко и разборчиво:

— Значит так, Баклавский, пикантная ситуация. У меня тут перед глазами списочек подозреваемых по очень неприятному делу. Ты каким-то образом угодил туда в первую строчку.

— Дай угадаю, — сказал Баклавский. — Взрыв на Золотом сегодня днем. А я — организатор.

— Прямо удивляюсь, кто из нас сыщик, — съязвил Мейер. — Что делать будем? Я должен тебя допросить.

— Только не сейчас! Могу предложить другое развлечение.

— Рассказывай. Ты ведь всегда выдумывал, чем "штифтам" заняться.

— Для начала скажи: ты уверен, что ловишь не меня?

Мейер зашелся противным мелким смехом:

— Твою персону мне подают из-под воды на китовом хвосте. Не люблю таких совпадений. Да и тебя знаю слишком давно. Зачем ты встречался с плетельщицей?

— Я не встречался.

Баклавский явственно представил себе, как Мейер хмурит брови, как закладываются вертикальные складки на переносице, надменной дугой выгибаются губы.

— Ежи, не делай из меня идиота!

— Плетельщиц в зале было две, тебе уже сообщили?

Тишина.

— Из них настоящая, по имени Энни — одна. Ее и взорвали вместе с охранником. Кто на самом деле вторая — я не знаю, но ее парня зовут Макс. Здоровый морж, если не из моряков, то из уличных. Они устроили мне спектакль с переодеваниями почище "Коральдиньо". В результате я как дурак отправился в Сети.

Сейчас сижу в Слободе — с продырявленным боком, но живой.

— Ты везунчик, — резюмировал Мейер. — Опиши этого Макса. Рост, лицо, уши, волосы.

— Мейер, в театре во время спектакля темно, и все сидят. Я узнал бы его, если бы встретил нос к носу. А так…

— Мне нужно допросить тебя.

— Опять за своё! Давай так: допрос утром. А сейчас — я же рассказал достаточно новостей. Подумай, что за парочка могла загнать меня в Плетельню. Девчонка, если она не слепая, безумно талантлива — я ни на секунду не усомнился, что это посланница Хильды. Может, среди мошенниц…

— Баклавский, оставь мне мою работу, ладно?

— Конечно, сыщик!

— Утром я тебя всё равно допрошу, не бегай от меня.

Баклавский фыркнул:

— Куда я денусь?

— Верить газетам, так ты уже должен быть на полпути к джунглям.

— До завтра, сыщик. Найди этого морячка.

Мейер, не прощаясь, повесил трубку.

Баклавский выпил еще рома и кофе, мысленно выстраивая следующую беседу. Самую трудную и важную. Пролистал телефонную книгу.

— "Золотой Плавник"!

— Добрый вечер! Любезный, среди ваших гостей находится Казимир Любек с друзьями. Не сочтите за труд пригласить его к телефону. Скажите, спрашивает граф Баклавский.

Казимир подошел через пару минут.

— Что это ты, Ежи, людей титулами пугаешь? — весело спросил он. — Ты приедешь? Здесь всё только начинается!

— Знаешь, старик… — развязно протянул Баклавский. — "Плавник" — такая респектабельная дыра…

— У-у, Баклавский, да ты, похоже, нас здорово обогнал — мы только сели ужинать…

— Во-от, старик! Читаешь мысли, можно сказать! Скажи, у тебя "Манта" на ходу?

Любек хохотнул:

— Интересный вопрос!

— Кази, сделай другу приятное, а?

— Баклавский, да ты совсем пьян!

— Кази, не ерепенься! Век не забуду! А? Мне бы пару ящиков шампанского, хоть бы и нашего — всё равно. И пятСк девочек…

— Ежи, ты до сих пор бегаешь по девочкам? — уже в голос захохотал Любек. — Да ты один у нас не стареешь! Помню-

помню, говорили, ты к какой-то сиамке повадился…

Пустой стакан в руке Баклавского со звоном разлетелся на куски. Секунду он держал зубы стиснутыми и старался не дышать.

— Ладно, не обижайся! Да шучу я, Ежи! Хочется жизни полной грудью? Будет сделано, господин Баклавский. Сто лет, как никому не делал подарков от души! Сейчас позвоню в порт, где наш причал — знаешь? А мамзелек и выпивку туда же подвезут, не беспокойся. Через час всё будет! Только потом, будь любезен — в гости, и чтоб живописал в красках!

— Кази, ты настоящий "штифт"! — заставил себя улыбнуться Баклавский. — Праздник устрою — погуще сиамского маскарада!

— А что празднуешь-то, выдумщик? — веселился Казимир.

— Да, повод всегда найдется! Прощаюсь с иллюзиями молодости.

— Слушай, Баклавский… — Любек вдруг отчего-то напрягся.

— Да?

— Ежи, — замялся Казимир, — ты действительно хочешь просто развлечься на "Манте" со шлюхами? Это никак не связано с делами отца?

И оставалось-то — спокойно ответить: "Нет, конечно". И добавить пьяно-обиженное "как ты мог подумать" или что-то наподобие того.

— Прости, Кази, — сказал Баклавский серьезным трезвым голосом. — Пользуясь своим статусом, я могу конфисковать на время любую посудину в гавани. Без объяснения причин. Но мне нужна именно "Манта" с экипажем, два ящика шампанского и пять отборных девиц.

Казимир ошарашенно выругался.

— Что ты замыслил, Ежи?

— Я рад, что тебе ничего не приходит в голову, Кази. Честное слово, рад.

— Да что ж ты делаешь-то! — Любек тяжело задышал в трубку. — Мне придется предупредить отца…

— Расскажи ему всё, что считаешь нужным, — посоветовал Баклавский. — Так ты выполнишь мою просьбу?

Нет городов красивее ночного Кетополиса! По крайней мере, вахтенный "Леди Герды" таких не видел. Сторожевой корабль медленно курсировал в километре от берега, охраняя канал, ведущий в гавань, и приглядывая за старой бухтой.

Красной звездой светится маяк Тенестра, сиренево и мертвенно мерцают сети в Плетельне — если верить приметам, киты близко, — а правее на берегу горят редкие точечки костров

— нищие греются, понемногу изводя на дрова заброшенные склады Стаббовых пристаней. Над Мертвым портом яркая желто-рыжая полоса Горелой Слободы освещает низкие облака.

Треугольный холм Монте-Бока торчит из моря плавником касатки, непроглядно-черный на фоне светящегося неба. Лишь наверху россыпью жемчужин сияет дворец Его Величества Михеля Третьего. А правее — канал, за ним круглая гавань Нового порта, бледный перст Хрустальной башни, кормовые огни кораблей, фонари на причалах… Квадратный подсвеченный фасад Навигацкой школы на острове в устье Баллены, а дальше — взлетают в небо разноцветные огни, синие, розовые, фиолетовые — Пуэбло-Сиам продолжает праздненство. Но сиамский квартал загорожен Орудийным холмом, и лишь маяк на входе в канал да тусклые уличные лампы у флотских казарм удерживают подступающую с юга темень.

На выходе из порта замигал семафор.

"Кто-то из Любеков решил расслабиться зпт не пропустите зрелище".

Вахтенный добежал до дежурного офицера, тот разрешил позвать свободную смену. Искоркой, звездочкой, огоньком, пятнышком приближалась роскошная "Манта", предмет вожделения каждого, кто хоть раз выходил на открытую воду.

— Ты посмотри, какие крали! — присвистнул дальновидный кок, вышедший на палубу с собственным биноклем.

На катере, принадлежащем главному торговому дому Кето, царил форменный бардак. Три крутобёдрые девицы в кружевном белье и мехах на голое тело проветривались на палубе, передавая по кругу бутылку шампанского с отбитым горлышком. Из жаркого нутра кубрика раздавался механический звон пианолы, кокетливый смех и визги.

Когда капитан "Манты", тоже явно нетрезвый, наконец, разглядел серый борт "Леди Герды", то вместо положенного морским уставом представленья отсемафорил: "Защитников кетополийского спокойствия поздравляю славным днем бойни тчк Любек".

— Грамотно отдыхают, — завистливо протянул косой матрос, за непристойное поведение уже третью неделю лишенный увольнительной на берег.

Вахтенный офицер поморщился как от зубной боли.

Через минуту "Леди Герда" ответила семафором: "Осторожнее фарватером тчк спокойного моря".

"Манта" заложила крутой вираж, минуя буй, показывающий край оборонной сети, и повернула на север.

— Неужели в Ганай собрались на ночь глядя? —

предположил кок.

— Да что там делать-то, — возразил матрос. — Попрыгают по волнам, пока выпивка не кончится, да и вернутся. Вот увидишь!

— Вот увидите, шеф, скоро нагоним… — неумело пытался утешать Баклавского Май.

— Кого нагоним? — вяло переспрашивал инспектор.

Было бы здорово, мальчик, увидеть сразу две пары бортовых огней, встречным курсом пройти мимо "Стража", эскортирующего беглый сухогруз, и тогда спуститься вниз, и тоже, хохоча и говоря скабрезности, пуститься в кутёж. Потому что мир вернулся бы на ту ось, где я привык его видеть. Потому что тогда и всем неординарным событиям этого дня нашлось бы какое-нибудь очевидное и безопасное объяснение.

Уже полчаса "Манта", приподняв тупой как у туфель Зоркого Дэнни нос, летела вдогонку за двумя судами, ушедшими из Кетополиса семь и пять часов назад. Если "Страж" догнал сухогруз в половине девятого, и они идут обратно с меньшей скоростью, то около половины первого они как раз должны вернуться в Новый порт. Стой, Баклавский, ты опять думаешь не о том…

— Огни прямо по курсу, — крикнул любековский штурман, молодой, но уже неразговорчивый и ко всякому привычный моряк.

Май и Баклавский кубарем скатились в кубрик. Там по-прежнему было весело. Четверо патрульных чинно сидели рядком на длинном диване, зато изрядно пьяные девицы разместились кто где.

— … А она и говорит: если ты кит, то где же фонтанчик? — закончила историю старшая мамзелька по прозвищу Киска, и патрульные скорчились, хватаясь за животы.

— Огни на траверсе, — сказал Баклавский. — Основная готовность.

— Опять пить и орать, — обреченно сказала темноволосая девица с размазанной под глазами тушью. Ее подруги неспешно кутались в меха и запасались шампанским. Май осторожно крутил ручку пианолы, заводя пружину. Из деревянного чрева инструмента исторглись первые такты веселой полечки.

Баклавский перешел в капитанскую рубку.

— Говорить будете только вы, — сказал он штурману. — Всё помните? — Тот кивнул. — Одно неправильное слово, и все пойдем на корм планктону. Мои погоны здесь не помогут. Очень надеюсь на вас… — Баклавский не смог подобрать, как обратиться к моряку, а имя почему-то забыл, и повисла неловкая пауза. — Не подведите Казимира, хорошо?

Глянул на приближающиеся огни. Левый и правый. "Страж" возвращался один. Худшие опасения подтверждались.

Когда катера, обменявшись позывными, гулко сошлись бортами, Баклавский сидел в кубрике, пряча руку с револьвером в кармане шинели.

— Что случилось, инспектор? — сквозь шум, музыку и хохот всё-таки можно было разобрать голос штурмана.

Савиш что-то ответил, но лязгающие аккорды заглушили его слова.

— Какие славные кротики! — голосом портовой шлюхи протянула Киска, повиснув на локте штурмана. — Настоящие морские кротики! Мальчики, не стесняйтесь, нас много, а клиент всего один! И то — напился так, что встать не может!

— Старший — или кто из сынков? — игриво спросил Савиш, и снова Баклавского кольнула интонация, едва скрывающая непонятную озлобленность.

— Хотите посмотреть? — ледяным голосом спросил штурман. — Или заглянуть? Поздороваться?

— Извините, любезный. — Савиш смутился. — Долгий день, нервотрепка… Зарапортовался. Честь имею. Приятного отдыха!

"Страж" зачавкал винтами, и густое облако дыма вползло в кубрик.

Уже вернулись с палубы замерзшие девицы, уже под руководством Мая патрульные поволокли наверх длинные короба, до этого стоявшие под ногами, а Баклавский, уставившись в одну точку, так и сидел у резных дверей с барельефами исхода Ионы из чрева кита.

Как же так, хотел спросить он. Из-за чего такое случается с людьми? Как в нормальном, вменяемом человеке вызревает червь предательства? И откуда в последний момент у него появляется тяга к напыщенным клятвам и проникновенным речам? Что это, иудин поцелуй?

Баклавский до последнего надеялся, что билет в театр, попавший ему в руки от верного помощника, второго человека в Досмотре, действительно был принесен в контору незнакомым моряком. Но до отплытия "Манты" Чанг успел осторожно выспросить у патрульных, дежуривших на пирсе — ни одна лодка, ни один баркас в это утро не подходил к конторе, а Савиш появился на месте буквально на пять минут, и сразу уехал в Новый порт.

— Если "Страж" вернется без добычи, — сказал Чангу Баклавский перед тем, как взойти на борт "Манты", — это будет означать, что к Савишу возникли вопросы. Вот здесь, — вложил в руку сиамца толстый конверт, — несколько писем, отправь их

пневмой немедленно. Там же — твои полномочия. И приказ о задержании Савиша до проведения разбирательства. Возьми его аккуратно, и не на "Страже", иначе начнется стрельба.

Чанг казался невозмутимым — границы его верности не распространялись на начальника конторы Мертвого порта.

— Надеюсь, он приведет сухогруз, — коротко ответил сиамец. По его улыбке Баклавский понял, что видит перед собой мужчину из семьи Хун…

Теперь катера расходились так же стремительно, как и линии судеб господина старшего инспектора Баклавского и господина инспектора Савиша. "Страж" возвращался в теплые объятия Чанга и верных ему патрульных. "Манта", превосходящая досмотровый катер в скорости вдвое, устремилась на север вслед за пропавшим сухогрузом.

Баклавский поднялся на палубу.

Май с патрульными уже распаковал пулеметы и закрепил их струбцинами на фальшбортах.

— Помнишь, что делать? — спросил Баклавский.

— Конечно, — ответил второй племянник Кноб Хуна. — Две предупредительные очереди по курсу, а дальше — только по капитанской рубке. Ни в коем случае не вызвать пожара или затопления — груз не должен пострадать.

— Надеюсь, двух очередей будет достаточно, — сказал Баклавский, и почувствовал себя немного сиамцем. Даже стало чуть легче.

IX. Горелая Слобода

— Сильны гулять, — заметил вахтенный, когда "Манта" с приглушенным светом в каютах, уже без музыки и песен, правым бортом разошлась с "Леди Гердой" на входе в фарватер Мертвого порта.

— Небось, шампанское кончилось, — заспорил косой матрос, мающийся бессонницей и коротающий ночь на палубе. — Пока выпивка есть, праздник длится вечно! А эти даже до гавани не дотянули, без выпивки-то!..

Всё ли просчитано? Всё ли предусмотрено? Не осталось ли лазейки для противника? Нет, это не противник. Это враг. Не хочется и думать, где, на каких высотах разъедает ржавчина машину управления королевством.

— Так нечестно! — сказала хмурая протрезвевшая Киска, встав рядом с Баклавским на носу "Манты". — Девочки там одни, совсем заскучали. Хоть бы развлек их, инспектор!

— Заведите пианолу.

Заряд мокрого липкого снега неожиданно накрыл катер, и палуба покрылась скользкой прозрачной кашей. Проститутка просунула руку Баклавскому под локоть, и прижалась к его плечу, пытаясь укрыться от ветра.

— Ты очень смелый, — сказала Киска. — Я думала, твой седенький приятель отправит нас в обмен на Иону.

— С чего ты взяла? — вяло возразил Баклавский.

— Он смотрел по-особому. Будто его корабль тонет, а он за ноги привязан. На нашей работе быстро учишься опасность видеть, иначе долго не протянешь… И зря ты с нами так.

— Как?

— Ты наши тела купил. Только тела, и то на время. А распорядился жизнями.

Баклавскому было нечего возразить.

— Прости, — попросил он.

— Сказал бы сейчас, что всё учел, и что риску не было — съездила бы по морде, не посмотрела, что благородный. Ну и как, стоила игра свеч?

Стоила ли? Благодаря маскараду удалось разминуться с вооруженным "Стражем" — единственной помехой в задержании сухогруза. Савиш отправился на берег. Лишь бы только Чанг взял его чисто… Май на любековском судне. С ним четверо патрульных, самые опытные ребята, до возвращения в порт не сомкнут глаз. Один пулемет установили на нос сухогруза стволом к рубке. Никто не осмелится полезть под огонь. Идут под всеми парами, и до рассвета судно разгрузится в зоне досмотра.

А утром, когда проснется Канцелярия и министерства, им будет предъявлено содержимое загадочных контейнеров. Письма, которые Чанг должен был разослать пневмопочтой, адресовались не только полиции и командованию флота, но и пяти крупнейшим газетам. Не хотелось поднимать шум до небес, но другого способа Баклавский придумать не смог.

Надо ли было брать ответственность за жизнь семи непричастных людей? Или в благостном недеянии наблюдать, как вновь введенные в строй механические чудовища продавят тонкую линию патройского рубежа и откроют дорогу в Кетополис ордам безжалостных дикарей?

— Вне всякого сомнения, — ответил он.

— У вашего пирса кто-то пришвартован, — сообщил штурман, вглядываясь в темень бухты. — Похоже на "Стража".

Нам точно туда надо?

"Манта" уже подходила к причалам. Теперь и Баклавский разглядел широкую корму досмотрового катера. В окнах конторы — лишь один тусклый огонек. Во все стороны вокруг — тьма и тишина. Только левее и выше, где-то в Слободе, багровые сполохи вырезали силуэт горизонта и облизывали низкие тучи — видно, там догулялись до пожара. Капитан остановил винты. Глубоко под кожухом машины тяжело дышали маховики.

"Манта" потерлась бортом о сваи, и Баклавский взобрался на причал.

— Благодарю за службу, — сдержанно сказал он. — Постарайтесь побыстрее забыть сегодняшний вечер.

Штурман молча кивнул. Киска нарочито небрежно помахала рукой и спустилась в кубрик. Тут же "Манта" дала задний ход, и растворилась в падающем снеге. Баклавский остался в одиночестве. Нащупал теплую рукоятку револьвера.

Мимо спящего "Стража" прошел к лестнице. Оставалось преодолеть двенадцать ступенек. Наверное, так Одиссей возвращался домой, подумал Баклавский. Дом уже будто и не дом, не знаешь, что ждет за дверью.

— Господин инспектор, это вы? — приглушенный шепот шел из приоткрытого окна. — Сейчас отопру!

Заспанный пожилой патрульный долго возился с засовом, а потом заметался, застигнутый врасплох непонятным ночным визитом высокого начальства.

— ЧайкЩ? — снова и снова спрашивал он, зажигая свет в залах, газовую грелку в кабинете Савиша, уличную подсветку над входом. — Вон, какая ночка-то стылая, не ровен час захвораете!

— Давно "Страж" вернулся? — Баклавский бессильно распластался в кресле, даже не сняв шинели.

— Ой, да что ж это я! — патрульный всплеснул руками. — Вы простите, господин инспектор, столько всего, просто ум раскорячился, не соображу, с чего начать-то!

— Уж начните с чего-нибудь, — Баклавский изо всех сил зажмурился, и резко открыл глаза. Фиолетовые круги разбежались прочь, а усталость ненадолго отступила.

Патрульный, едва не расплескав, принес чашку чая на блюдце.

— Стрельба была, — коротко и торжественно заявил он. — Старший патрульный Чанг на двух мобилях подлетели, "Страж" как раз швартовался. Господин инспектор только-только в контору зашел, в патрульную, а Чанг ему бумагу в лицо, говорит, арестовать велено. А господин Савиш: что за вздор? А Чанг говорит, приказ самог? старшего инспектора! Тут наш инспектор

выхватил револьвер, и даже выстрелил раз, пока не скрутили мы его, прости нас, Иона, китовых детей!

Патрульный опечаленно сморщился. В своем начальнике досмотровики Мертвого порта души не чаяли.

— Может, рюмочку, а, господин инспектор? Для сугреву?

Баклавский немного успокоился. Савиш задержан, это главное. Нет смысла подгонять служаку, всё равно всё расскажет.

— Для сугреву — с удовольствием. Только себя не обделите.

Патрульный, шаркая, исчез в коридоре. Баклавский огляделся. Всё вокруг напоминало о Савише — его пресс-папье, бювар, маленький медный глобус, бюстик Канцлера — вечный объект насмешек… В лотке пневмопочты лежал одинокий цилиндрик — будто письмо из прошлой жизни.

Баклавский взял капсулу в руки и посмотрел обратный адрес. Письмо пришло откуда-то с окраины Бульваров. Между всеми тремя конторами Досмотровой службы проходила отдельная линия почты, и сообщения, перекидываемые из одной конторы в другую, шли напрямую, минуя узлы связи. Соответственно, входящие адреса на "пневме" не перештамповывались.

Патрульный вернулся с двумя мутными рюмками и початой бутылкой "Китобойки".

— Я что думаю, — задумчиво сказал он, бережно наполняя рюмки, — ведь господин Савиш прямо в ордер попал, еще повезло, что старшего патрульного не ранил. Пробила пуля бумагу, а толку? Заарестовали нашего начальника, хоть и по дырявому ордеру. Что ж это получается, бумага нынче сильнее пули, а?

Они чокнулись и выпили. Маслянистая "Китобойка" обволокла горло, выдавила слезы на глаза. Патрульный закашлялся и китыхнулся.

— Бумажный меч надежней стали… — произнес Баклавский.

— Как вы сказали, господин инспектор?

— Так где же Чанг? Савиш?

— Я так понимаю, в головной все… Ох, тыква пареная, записка-то! Вы уж не серчайте, господин инспектор!

Патрульный поднял пресс-папье и подал Баклавскому сложенный листок.

Густое сплетение сиамских букв.

"Лук — два мешка.

Яблоки — семь ведер.

Китов пусть выторгует Май.

Мука — четыре килограмма.

Яйца — три десятка.

Покупать? Дайте знать, я позвоню".

— Еще по одной? — спросил патрульный, видя, как нахмурился старший инспектор.

Двадцать семь — это на Ручье. Что происходит? Как Чанга туда занесло? Его ли это рука? Баклавский узнал бы почерк помощника, но не по-сиамски.

"Покупать", — написал он на чистом листе "пневмы" и сунул его в чистую капсулу. За китов… За китов… *Таких* китов можно было сторговать за пятерку! Предусмотрительный ход — скрыть не последнюю, а третью цифру. Без нее — десять адресов на выбор в разных кварталах. Чтобы проверить все, понадобилось бы поднять на ноги всю полицию Пуэбло-Сиама. Двадцать семь — пятьсот сорок три.

Подписав капсулу, Баклавский рывком рычага отправил ее в путь. Потянулись долгие минуты. Выпили еще по одной. Потом зазвонил телефон.

— Побудьте пока в патрульной, — сказал Баклавский и снял трубку.

Крупные фигурные снежинки прилетали из сковавшей мир темноты и разбивались о стекло как птицы.

— Он стрелял в меня, шеф, — сказал Чанг. — Стрелял в своего. У нас так не принято.

— Почему ты не отвез его в Новый порт? — спросил Баклавский.

— Он вопит как свинья даже от пустячной боли. Мне удобнее разговаривать с ним без посторонних.

— Чанг, — голос сорвался, пришлось откашляться. — Ты старший патрульный Досмотровой службы. Ты не можешь…

— Не беспокойтесь, шеф, мне не приходится применять силу. Почти. Шакал очень разговорчив.

— Чанг, — Баклавский постарался, чтобы его голос звучал убедительно. — Нужно…

— Я обещал заботиться о вас как об отце. А шакал продал вас за карточный долг и обещание вашего кресла, — голос Чанга состоял из презрения и ярости. — Мы еще не закончили с ним беседу.

Баклавский промолчал.

— Билет в "Ла Гвардиа" Савиш получил еще вчера, — продолжил Чанг, — от бывшего моряка по имени Макс. Мелкая сошка. Ночует в Слободе — в "Амбре" сдаются комнаты всякому сброду. Про его девчонку шакалу ничего не известно. И что хуже всего, Савиш не знает, кто его купил. Обычный незнакомец — после покера в "Золотом Плавнике". Купил как шлюху. Уже давно, шеф. А два дня назад сообщил, что пора отрабатывать. И Савишу

даже не стыдно. Он говорит, вам всё равно не помочь.

— Чанг, — сказал Баклавский, — привези его в порт и посади под замок. Не натвори глупостей, я прошу тебя.

— И еще, шеф… — Сиамец будто не слышал обращенных к нему слов. — Я очень беспокоюсь за брата. Если Май не вернется в порт, я перережу шакалу горло.

И повесил трубку.

Баклавский дрожащими руками открутил колпачок с капсулы "пневмы", которую, пока разговаривал с Чангом, едва не сложил пополам. Из картонного цилиндра на стол выпал обрывок шпагата. Сначала это была петля, затянутая хитрым узлом, а потом петлю разрезали, и получился "икс", две веревки, связанные крест-накрест.

Снова задребезжал телефон, и Баклавский сорвал трубку:

— Я приказываю тебе…

— Нормальные люди сейчас видят сны в объятиях красивых женщин, — Мейер был благодушен как сытый питон. — И только такие придурки как мы с тобой в четыре утра пытаются делать вид, что работают.

— Привет, сыщик, — Баклавский даже помотал головой, так неожиданен был звонок Мейера. — Уже пора выезжать на допрос?

— На опознание, — ответил тот. — Ты хорошо знаешь Слободу?

— В меру.

— Есть хороший шанс поболтать с твоим потерявшимся морячком. Спроси меня, как я его нашел!

— Как ты его нашел, великий сыщик Мейер?

Где-то на том конце провода старый друг откинулся на спинку стула, и, наверное, даже положил ноги на стол.

— Я научу вас, сыщик-любитель Баклавский! Если девушка закатывает глаза, а вы принимаете ее за слепую, это действительно говорит о таланте. Но она не мошенница. Она — актриса. За последние годы в городе шло всего лишь два спектакля, где на сцене появлялась бы плетельщица. Два! В одной и той же второсортной студии. И две! Всего лишь две актриски научились прятать глаза, чтобы было похоже. Я спросил себя: Мейер, а нет ли у какой-нибудь из них покровителя из криминальных кругов? Поискал, поспрашивал… И поехал на Восточный бульвар с визитом вежливости к талантливой, но очень невезучей красотке, которая чуть не отправила на тот свет милого моему сердцу однокашника.

— Ты нашел ее?

— Я нашел ее, допросил ее, и сейчас увезу в управление, чтобы завтра ты мог без спешки составить заявление о

покушении. Ее дружка зовут Макс, всё правильно. Скользкий тип, из слободских. Держит девчонку на коротком поводке, практически в рабынях. Немудрено — денег за спектакли в такой дыре даже на тухлую китятину не хватит. Он сказал — она сделала. А вот обо всем остальном надо спрашивать у Макса. Они вышли из театра задолго до финала. Макс переоделся прямо в экипаже, что-то взял и убежал, а ее отправил домой. По описанию одежды, по времени, да по всему — это он. Дождался конца спектакля, и когда плетельщица с телохранителем сели в свой экипаж, бросил им в окно бомбу. Сам в суматохе скрылся. Я и подумал — вдруг моему другу Баклавскому не спится, и он согласится по холодку прокатиться до Слободы?

Обрывок шпагата. Еще недавно он был веревочной серьгой в ухе Макса. Моряк выкинул его, а кто-то подобрал и послал Баклавскому по почте: смотри, инспектор! Думай, инспектор! Только почта чуть-чуть запоздала…

— А как зовут девушку? Ты у нее?

— Да, я же сказал, — несколько обескураженно ответил Мейер, — на Восточном бульваре, в мансарде доходного дома Гнездник. А зовут твою пассию Ниной. Нина Заречная. Подходящее имя для актрисы.

— Не увози ее. Лучше поедем за Максом.

— Что ты сказал?

— Я не буду писать заявление, старик. Зачем мне девчонка, если она играла вслепую? Слепую — вслепую, смешно. Нам нужен Макс — и тот, кто за ним.

Мейер был недоволен.

— Дело твое, Ежи. По взрыву она всего лишь свидетель. Но я бы прихватил ее для верности… Погоди, дай соображу… Ежи, ты на нее глаз положил, так?

Баклавский хотел возмутиться, но, чтобы закончить разговор, пробурчал:

— Хочешь, считай, что так.

— Вкус хороший, мозгов нет, — констатировал Мейер. — Годы его не меняют! За тобой заехать?

В горле пересохло.

— Встретимся на месте. Скажи, где.

— Не вздумай соваться в "Амбру". За постоялым двором — площадь Приголуба. От нее начинается Кабацкая улица, там полно ночных забегаловок. Встреча — у ближайшей к Приголубе. Нам понадобится минут сорок, приедешь раньше — выпей горячей канеллы. До встречи!

Насколько реже мы теперь встречаемся с людьми, подумал Баклавский. Голос летит по проводам, и решаются дела, меняются

судьбы, ломаются жизни. А когда-нибудь Вивисектор научится вживлять телефон прямо в голову, и мы навсегда окажемся связаны в кошмарную мыслящую сеть…

Повесив трубку, Баклавский посмотрел на левую руку. Даже просто взгляд на узелки стянувшего запястье узора вызывал тошноту. Попытался оттянуть браслет чуть в сторону, и тотчас будто шнур продернули через дырку в сердце. Схватил воздух ртом, скорчился, переждал… Отпустило.

Рука покраснела и саднила. Баклавский спрятал подарок плетельщицы под манжету, и снова потянулся к трубке. Продиктовал номер.

Стыдно будет. Потом. Если это "потом" будет.

— Я нашел морячка. Через двадцать минут — на площади Приголуба, — сказал он в телефонную пустоту. — Поторопимся.

Фантазия у Баклавского работала не хуже, чем в детстве. Изнуренное сознание превращало ветхие строения Мертвого порта то в неприступные горы, то в ряды книжных корешков с библиотечной полки. Едва выпавший снег разрисовал дороги картами неизведанных земель. Снежинки легче пуха невесомо устилали мокрую брусчатку, и вдруг рафинадно темнели и превращались в воду.

Иногда Баклавский чувствовал, что на него смотрят, зло и оценивающе: что с "крота" взять, будет ли сопротивляться, не опасен ли. Может, и не было там никого. Но когда от этих царапающих взглядов из темных арок и полуоткрытых ворот становилось невмоготу, извлеченный из кармана револьвер демонстрировал незримым недругам, что его владелец — неподходящий объект для знакомства.

То шел, то бежал. Чаще бежал. Кривая дорога уводила от порта вверх, к Слободе. Раскочегаривать мобиль получилось бы еще дольше, а Баклавский спешил как никогда в жизни.

А фантазия рисовала ему отчаяние и унижение лжеплетельщицы Нины Заречной. Надежды юности, слепую уверенность в своем таланте, пренебрежение первыми неудачами. Ажиотаж любительских премьер, сумасбродство богемных салонов, робость и возбуждение от того, что рядом, бок о бок, набирают силу будущие Тушинские и Шаляпины.

И нервную усталость от постоянных отказов мало-мальски значимых театров. И нарастающую панику безденежья. Сомнения в себе и непонимание: что же еще сделать, как подать себя, чтобы зацепить внимание тех, чье слово имеет вес в театральном мирке. Отвращение к себе после первой встречи с громилой, захотевшим приручить красивую птичку. И какого же страха ей стоило

вложить в капсулу "пневмы" доказательство вины своего ухажера! Постоянно общаясь с уголовниками, Баклавский знал, насколько зависимыми они делают своих женщин…

А не слишком ли много выводов из одной посылки с обрывком шпагата внутри? Тебя пытались лишить жизни, и взорвали случайных свидетелей. А ты, Баклавский, ищешь лазейку — и даже не в собственной судьбе, а в мироздании. Зачем тебе нужно, чтобы незнакомая лицедейка, содержанка бандита и убийцы, оказалась невиновной, невинной, жертвой обстоятельств? Что это даст? Или ты просто истосковался, не видя рядом ни одного человеческого лица, ни одной личности, не заинтересованной в твоей протекции, коммерческих поблажках — или твоей отставке и скорейшей кончине? А здесь что-то промелькнуло такое, что теперь ты готов бежать за случайным бликом?

Неужели, чтобы разбить броню, наросшую на твоем сердце, как снежная шапка на горном пике, достаточно было просто подержать тебя за руку? И на смену опиумному призраку нежной и мудрой Тани Па в душу входит мистический образ длиннопалой актрисы? Нет ответа, и нет ощущения правильности происходящего.

Баклавский остановился, чтобы отдышаться, уже в Слободе. Добротные купеческие дома с пологими скатами крыш, морёными бревнами стен, тяжелыми ставнями, выстроились в ряд, неприступные и отрешенные, как идолы с недавно отбитого у бирманцев острова Пасхи. Выбитым зубом смотрелось остывающее пожарище.

Черный скелет из обугленных бревен еще дышал затаенными сполохами, добрым и уютным мерцающим светом из глубины развалин. На облучке пожарной бочки ссутулился брандмейстер в золоченом шлеме. Папироска в его руке перемигивалась с умирающими углями погибшего дома.

— Морлочий притон спалили, — с одобрением сказал пожарный. — Хорошо, на соседние крыши не пошло, уж больно весело разгорелось.

Воздух над останками дома колыхался, словно за сетью плетельщиц. Крупные изящные снежинки, неспешно украшающие всё вокруг, в потоках теплого воздуха тяжелели, ломались, и искристыми капельками рушились на обиженно пшикающие бревна.

Баклавскому показалось, что сквозь шипение мокрой древесины и гулкие посвисты ветра он слышит печальную песню. Отрешенные, неземные женские голоса тянули жалобные ноты. "За ни-иточкой у-узело-ок…", — даже вроде бы угадывались

слова, воображение охотно принималось играть обрывками воспоминаний из полустершегося детства. Нужно было продолжать путь.

Пристойные дома зажиточных торговцев на каком-то перекрестке резко сменились кособокими развалюхами и высокими частоколами. Низко и угрожающе зарычала собака. Ни огонька, но падающий снег и отсветы других кварталов от низких облаков окрашивали улицу в белесые тона. Края луж хрустели тонким льдом. Баклавский пробежал последние сотни метров до "Амбры". Постучал чугунным кольцом. В ответ раздались тяжелые шаги.

— Кого несет? — хозяин постоялого двора приоткрыл маленькое окошко в воротах, и внимательно рассмотрел сначала направленный ему в лицо ствол, а потом жетон Досмотровой службы. — Не спится, господин старший инспектор? Могли и добром попроситься.

Баклавский прошел вслед за ним по брошенным в грязь доскам и перепрыгнул на порог трактира. Пахло кислятиной и перегаром. Тлела слабосильная лампочка, толком ничего не освещая. За дальним столом лицом в тарелке похрапывал какой-то пьянчуга. Широкие лестницы по краям зала поднимались на балкон — там одна к одной жались двери, не меньше дюжины. Видимо, комнатки были не самые роскошные.

— Далеко вас от бухты занесло, — сказал хозяин беззлобно. — Чего хотели?

— Покажи мне комнату Макса.

— Нет здесь никакого Макса.

Баклавский, недолго думая, выстрелил в потолок.

— Макс, — крикнул он, — выйди сюда и умри как мужчина!

Наверху заворочались, зашуршали, зашептались. Кто-то взвизгнул. Но главное, хлопнуло распахиваемое окно.

— Вы чтой-то вздумали чудить, — хозяин не особо удивился, в Слободе всякое бывает. — Швали всякой у нас полно, а самоубийц не водится. Если и был здесь какой Макс, так уже нету.

— Комната? — спросил Баклавский.

— Десятая, — неохотно ответил хозяин.

Баклавский взлетел по лестнице, пинком выбил дверь. Замызганные занавески выпростались на улицу, словно махали драными краями вслед убегающей через площадь фигурке. Снежинки изящными пируэтами влетали в окно и таяли на подоконнике.

Человек бежал тяжело, грузно. Даже с такого расстояния Баклавский узнал его. Макс то и дело оборачивался, желая

убедиться, что преследования нет. Перепрыгнул через что-то темное, протянутое поперек заснеженной площади. Ни огонька в окнах, только из проема спасительной Кабацкой улицы мягко льется свет — там не закрывались до утра, как и говорил Мейер.

На пути убегающего моряка встала тонкая черная тень. Макс увидел ее издалека, и слегка замедлил бег, принял чуть влево, не желая столкнуться. Женщина нагнулась и потянула из-под ног вверх темную, с крупными ячейками, сеть. Вторая плетельщица шагнула из тени в углу площади, и подняла свой край. Проход к Кабацкой улице закрылся.

Макс бросился в сторону, потом назад, но женщин было уже восемь. Высоких, стройных, с неестественно прямыми спинами. Баклавский поклялся бы, что видит, как блестят белки приоткрытых глаз. Постепенно выбирая сеть, плетельщицы начали сходиться. За их спинами появились матросы — те, что выходят в океан на утлых черных суденышках, и растягивают на десятки километров тонкое кружево, способное остановить самого большого морского зверя. А вернувшись на берег, стерегут покой своих слепых жен и матерей. Макс угрожающе закричал, но в его голосе страха было куда больше, чем угрозы.

Баклавский, чуть помедлив, перекинул ногу через подоконник.

Макс не выдержал, и с отчаянным воплем прыгнул в самый широкий зазор между плетельщицами.

Уже прыгая из окна вниз, Баклавский успел увидеть, как изогнулось судорожной дугой всё тело моряка от головы до пят, когда он коснулся сети.

Земля больно ударила по пяткам. Баклавский отряхнул с ладоней прилипший грязный снег, и побежал вслед за плетельщицами. Между связанными руками и ногами Макса матросы просунули длинный бамбуковый шест и подняли его на плечи. Баклавский испугался, что его сейчас стошнит.

Плетельщицы, держась за сеть, уходили одна за одной, исчезали в узком провале между каменной аптекой и бревенчатым лабазом.

Баклавский догнал Стеллу и остановил ее, придержав за локоть. Другая плетельщица перехватила у нее сеть. Один матрос остался стоять неподалеку, все прочие, включая тех, что несли Макса, скрылись в проулке.

— Я выполнил свою часть сделки, — сказал Баклавский.

— Видите, как важно чего-то по-настоящему хотеть, — высокомерно сказала плетельщица, — тогда всё получается как надо. Дайте вашу руку.

Баклавский протянул ей запястье. Ледяные пальцы

скользнули по воспаленной коже и нащупали браслет. Одним резким движением Стелла распустила узел, и плетеная полосочка слетела с руки, не причинив никакой боли. Рука стала невесомой, будто наполненной водородом, как баллон аэростата. Сердце забилось чуть быстрее, освобожденное от странного бремени.

— Прощайте, — сказала плетельщица.

— Еще нет, — жестко сказал Баклавский. — Человек, которого вы сейчас забрали к себе, убил одну из вас. Я нашел его и отдал вам в руки. Передайте Хильде, что она получила чок-дэ. И в ответ я жду от нее имя того, кто придумал маскарад в театре.

— Вы слишком много на себя берете! — ледяным тоном возразила Стелла.

— Не больше, чем смогу унести. Я не друг Хильде, но ей ни к чему обзаводиться врагом. Мой телефон и пневма вам известны.

Плетельщица повернулась. Матрос тут же оказался рядом, и она взяла его под руку.

— Письмо придет вам домой не позже полудня, — сказала Стелла. — Прощайте.

Вся площадь была разрисована следами. Опытный полицейский прочел бы здесь целую историю. Баклавский побрел наискосок к месту встречи с Мейером. С разных сторон послышался гул моторов.

Несколько силуэтов выскользнуло из освещенного пространства улицы и разбежалось по подворотням. Далеко не каждому жителю Слободы хотелось попадаться полицейским на глаза.

Всё-таки, я успел, подумал Баклавский.

Служебный мобиль с каракатицей и желтой полосой на борту стоял прямо посреди Кабацкой улицы. Даже в здешних не самых приветливых местах уголовная полиция постоянно демонстрировала свою силу, хоть бы и по пустякам.

Мейер, воротник поднят, котелок надвинут на глаза, нахохлился на заднем диване мобиля. Приглашающим жестом показал на место слева от себя.

— Ты долго, — сказал Мейер, когда Баклавский сел рядом и захлопнул дверцу. Шофер в забегаловке напротив торопливо рвал зубами горячий буррито.

— Боюсь, — не так-то просто было подобрать правильные слова, — в "Амбру" заходить уже нет смысла.

Сыщик повернулся, сощурился, заглянул в глаза. Баклавский с трудом выдержал его взгляд.

— Знаешь… — негромко сказал Мейер, — знаешь, Ежи, ты сволочь.

Баклавский лишь сжал губы.

— Этого парня должны были взять мы. Увезти в управление и вытрясти из него душу. — Мейер наморщил лоб, будто от головной боли. — Тебе требовалось лишь показать его. Вместо этого ты намеренно спугнул негодяя, и теперь он ляжет на дно — можно перерыть весь Кетополис, его уже не найти. Ты вздумал играть против меня?

— Что ж не арестуешь за пособничество? — спросил Баклавский. — Или за укрывательство — как там это у вас правильно называется?

— Дурак, — сказал Мейер.

Баклавский машинально потер пальцами еще саднящее запястье.

— Были веские причины, — сказал он. — Я отдал Макса Хильде. У меня не получалось по-другому.

Следователь недоверчиво хмыкнул, но промолчал.

— Если ты напишешь, что преступник был убит при задержании, то не погрешишь против истины. Ты нашел убийцу менее чем за сутки. Всё хорошо.

Мейер помял пальцами переносицу.

— Ты странный человек, Ежи. Совершенно дикие вещи излагаешь с таким видом, будто нет ничего более естественного…

— Чем что?

— Ты предлагаешь мне написать подложный отчет.

— Да, — ответил Баклавский. — Но каждое слово в нем будет правдой. Жизнь Макса скоро оборвется в Плетельне. Гораздо менее приятным способом, нежели предусмотрено "Уложением о наказаниях". Кара настигнет преступника.

Мейер откинулся на спинку дивана. Повертел в руках короткую боцманскую трубочку, но курить не стал. Спросил:

— Не могу понять, ты переживаешь или злорадствуешь?

Баклавский пожал плечами:

— Скорее, первое. Плодить смерть — не лучшее занятие.

— Вот объясни мне, что происходит, а? За последние месяцы ты стал каким-то пугалом Кето. Газеты захлебываются: Баклавский — то и сё, Баклавский — бирманский шпион, Баклавский — казнокрад и взяточник, Баклавский — правая рука Остенвольфа…

— Когда государство оказывается на грани распада, находятся люди, желающие погреть на этом руки. Наверное, я им слегка мешаю. Морально устарел, занимаю место, предназначенное для кого-то гораздо более гибкого. Считаю Кето королевством. Мало ли, что еще.

— Но вместо того, чтобы пустить тебе пулю в голову или взорвать, как стало модно в последнее время, они решили

перепоручить тебя плетельщицам, — заметил Мейер. — А потом тебя бы похоронили с почестями, назвали твоим именем какой-нибудь проезд в Пуэбло-Сиаме, а в порту прикрутили бы на стенку конторы мемориальную доску.

— Приблизительно так, — усмехнулся Баклавский.

— Подозреваешь кого-то конкретно?

— Возможно.

— Поделишься?

— Уверен, что тебе стоит в это влезать?

Мейер удивленно поднял бровь:

— Судя по вопросу, ты собираешься воевать не меньше, чем с Канцлером!

Баклавский отвернулся к окну. Шофер топтался под козырьком забегаловки, не решаясь вернуться к мобилю.

— Я почти уверен, Мейер.

— Ежи, это же бред! Твоя вошедшая в анекдоты приверженность короне — это не повод для убийства. Твою службу *уже* ликвидировали. Все дела в нашем государстве — забота Внутреннего Совета Канцелярии. Михелю оставили только псарню, парады и балы, каждому — по силам! Приди на место Канцлера кто-то другой, анархия бы уже давно накрыла остров как цунами. Откуда у тебя такое патологическое недоверие к Одноногому?

— Я так вижу, — сказал Баклавский, вспомнив чокнутого художника с Круадора.

Мейер тяжело вздохнул.

— Октавио сошел с ума. Мне кажется, ты не спеша идешь по его дорожке. Ты без мобиля?

— Ничего от сыщика не скроешь!

— Подбросить домой? — Мейер махнул рукой шоферу, и тот побежал к мобилю.

— Лучше до Торсиды, если не сложно. У меня осталось еще одно дело на сегодня.

— Дело — в шесть утра?

— В шесть ночи. Утро наступит только когда я проснусь.

Ехали молча. Сыщик даже вздремнул. Баклавский разглядывал профиль друга. Убрать морщины у глаз, разгладить лоб, не обращать внимания на матерую щетину — и вот он, жизнерадостный наглый мальчишка, переодевшийся гардом и захвативший навигацкую шлюпку…

Мобиль остановился на площади Торсиды. Мейер вышел проводить Баклавского.

— Если что… — сказал он.

— Я знаю, — благодарно ответил Баклавский.

Тучи вдруг на мгновение окрасились голубым, и через несколько секунд громыхнуло.

— Гроза? — удивился Мейер.

— В конце октября?

Но, видимо, осеннее небо действительно решило разродиться запоздалой грозой — где-то над морем вспыхивали зарницы, а ветер приносил глухой рокот.

X. Восточный бульвар

Лавки, цирюльни, трактиры на Бульварах были закрыты наглухо. От Торсиды Баклавский поднялся до Восточного и повернул к реке. На противоположной стороне бульвара открытым ртом зияла лавка с нескромным названием "Закрома Канцлера". Лохматый спросонья старик, борода лопатой, руки как грабли, неуклюже перепрыгивал от лотка к лотку, громко и раскатисто цокая по полу деревянным протезом. Пока Баклавский подходил к лавке, бакалейщик смел длинной шваброй снег с тряпичного козырька, зажег по углам газовые фонарики, и по-хозяйски встал к весам за прилавок.

— С праздником, — сказал Баклавский. — Какие яблоки есть?

Все лотки с фруктами скрывались под неопрятной ветошью, и посмотреть на содержимое не получалось.

— Франклин, мендельские, ганайский налив… — начал перечислять старик.

— Ганайские хороши?

— Из самог? любековского сада, других не держим, — старик проворно отдернул покрывало с ближайшего ящика.

Под пластами серого войлока взошли солнца — розовые наливные яблоки почти светились, аккуратно выложенные одно к одному.

— Как вы их попрятали, — усмехнулся Баклавский, — от наших-то глаз!

— Такое чудо — поморозить! — охнул старик. — Гре-ех!

— Грех, — согласился Баклавский. — Полдюжины, покрупнее.

Выбрав, кроме того, плитку флотского пайкового шоколада, пятилетнюю бутылку тинто, и ломтик острого, в сиреневой плесени, патройского сыра, и для приличия выторговав у бакалейщика полкроны, он вышел на Восточный бульвар и зашагал широким размашистым шагом к доходному дому

госпожи Гнездник, что стоял от лавки в паре кварталов.

Снегопад окончательно стих. Рассвет начал высветлять небо у горизонта, а в улицах Кетополиса лишь сгустилась тьма, хищно поглощая лучи редких фонарей. Первые пешеходы вытаптывали в белом покрывале приближающейся зимы неровные елочки следов. Бульвары просыпались медленно, лениво.

— "Полис"… "Полис"… — где-то вдалеке вопил мальчишка-газетчик.

— "Утро Кето"!.. "Утро Кето"! — вторил ему другой. — Трагедия накануне праздника!..

Что же должно случиться в нашем странном городе, подумал Баклавский, чтоб удостоиться статуса трагедии? Мы очерствели, озверели, отплакали свое уже давным-давно. Пропавшие дети — не горе, а статистика. Газ и бомбы — на странице происшествий. Убиваем китов — и себя вместе с ними…

Семиэтажный доходный дом госпожи Гнездник растопырился буро и кособоко на углу Восточного бульвара и Хитрова переулка. Оставалось только подняться на последний этаж и разгадать последнюю загадку. На сегодня? Навсегда?

Теперь они не отвертятся, со спокойной уверенностью понял Баклавский. Слишком долго он набирался опыта в канцелярских делах, чтобы выпустить этих мерзавцев из когтей. Все бумаги разошлись по инстанциям — не изымешь, не спрячешь. Корабль, почти ушедший к Остенвольфу, сейчас входит в Новый порт. Контейнеры вскроют, и никакая рука сверху уже не заткнет рот газетчикам. Впрочем, сюда, на Восточный бульвар, старший инспектор Баклавский пришел совсем по другим причинам.

Из переулка опрометью выбежал мальчишка — картуз набекрень, пальтишко расстегнуто, длинный ремень почтовой сумки перекрутился жгутом.

— "Полицейский вестник", — пискнул он у Баклавского за спиной. — Купите газету, дяденька! "Леди Герда" прямой наводкой засадила по любековскому сухогрузу, представляете? Берите, тут грамотно рассказано!

Баклавский нашарил в кармане монетку, и получил взамен серый мятый листок со строгой каракатицей на шапке. Дернул дверь, шагнул в парадное. А потом в левом глазу потемнело, и Баклавский, едва не уронив тяжелый пакет, привалился боком к косяку. Пытаясь заморозить боль, он прижался щекой к масляным разводам жирной, заросшей мертвой паутиной стены.

В октябре не бывает гроз.

Тварь… Я найду тебя, слышишь? Из-за твоих игр расстреляли моих людей… Иглесиас, Варма, Ханукян, Шевский. И Май. Как полсердца прочь. Май. Как сказать Кноб Хуну? Чангу? Только

доделать то, что начато. Размотать эту гнилую пахнущую трупами нитку. Круг сузился, дорогой незнакомый враг, и я уже иду за тобой! Только передохну…

Баклавский опустился на ступени. То ли на минуту, то ли на час. Кто-то прошел мимо, аккуратно переступив через пакет. Трубы в стене зашумели водой. Дом просыпался.

Когда боль в виске чуть утихла, Баклавский медленно поковылял вверх по лестнице. На каждом этаже из узких пыльных зеркал, встроенных в проемы напротив дверей неработающего лифта, на него глядел новый Ежи, постепенно избавляющийся от титулов, званий, роли в обществе, и прочих сугубо внешних побрякушек. Последний, на шестом, оказался просто усталым мужчиной средних лет, с чуть перекошенными плечами, чтобы не так болел разорванный бок, мужчиной, обрюзгшим от бессонной ночи, обросшим ровной золотистой щетиной, и не способным подмигнуть собственному отражению.

Кнопка над выцветшей табличкой "Заречная" произвела за дверью скрежещущий звон, и из глубины квартиры послышались шаги.

Энни-Нина в тяжелом шелковом халате ничуть не походила на плетельщицу. Заплаканные глаза смотрели близоруко и беззащитно. Баклавский молча протянул ей открытую ладонь, на которой лежал обрывок шпагата. Нина так же молча посмотрела ему в глаза, потом опустила взгляд к ладони, и снова посмотрела в лицо. Было в ней что-то странное, шальное, непонятное.

— Я пришел поблагодарить вас, Нина, — голос неожиданно подвел, выдав курьезный фальцет. Баклавский откашлялся. — Здесь яблоки…

— Яблоки? — Нина сделала два шага назад, полуприглашая его войти. — Как странно! Здесь — вы… И яблоки…

Баклавский перешагнул порог. Тусклый и резкий свет дуговой лампы драпировал коридор причудливыми тенями. Половина лица Нины пряталась в темноте, черно-белая театральная маска.

— Я поняла еще в театре, что творится что-то страшное. Поняла, когда увидела вас, — медленно проговаривая слова, сказала она. — Макс только отшучивался, когда я спрашивала, к чему эти переодевания. Но он не тот человек, чтобы тратить время на безобидные розыгрыши. А потом я увидела, как вы верите всему, что я говорю… Это было ужасно…

Она потянулась мимо него, чтобы закрыть дверь, и ощущение ее близости вызвало у Баклавского крупную дрожь.

— Когда он отправил меня домой, а сам умчался неизвестно куда, я хотела сразу найти вас… Простите меня…

Нина отступала, а Баклавский шел за ней следом. Они миновали длинный неосвещенный коридор и оказались в комнате с большим круглым столом под лампой с зеленым абажуром посередине, кроватью, видимо, в спешке прикрытой покрывалом, старинным секретером в дальнем углу и широкой прикроватной тумбочкой.

— Вечером был спектакль, я едва сыграла. Ночью пришли из уголовной. Искали Макса. А потом я поняла, что опоздала и вы мертвы…

— Отчего же… — сказал Баклавский, не в силах оторвать взгляда от стоящей на тумбочке ржавой терки, красивой черной пиалы, кувшина с молоком и блюдечка с крупными ярко-голубыми горошинами. — Отчего же сразу хоронить?..

— Так мне об этом с улицы кричат. Кричат, ты убила человека. И мне нечего им ответить. Инспектор Баклавский пытался провести судно без сигнальных огней мимо кораблей заграждения. — Нина закрыла лицо руками. — А я даже не знаю, зачем изображала в "Ла Гвардиа" плетельщицу, и почему Максу это было нужно, но он плохой человек, а вы хороший, и вы умерли, и значит, это я виновата…

Наконец, она заметила, куда смотрит Баклавский. Хлюпнула носом.

— Конфискуете? — спросила саркастически, резко, ощетиниваясь еще до того, как он скажет хоть слово.

Баклавский тяжело опустился на край кровати, отставил в сторону пакет со снедью, и взял с блюдечка двумя пальцами продолговатый сомский боб. Сине-голубые прожилки, глянцевый муаровый узор. Вот так всегда — как ни конопать дырки, а контрабанда свою лазейку находит. В вечной борьбе защиты и нападения второе, как обычно, на шаг впереди.

— Нетоварное количество, — констатировал Баклавский, нюхая терпкую кожуру. Ковырнул пальцем в пиале белую стружку, похожую на кокосовую. — С молоком натираешь? — Как-то сразу он спрыгнул на "ты", будто перед ним оказался один из подопечных Досмотровой службы.

— Курить не могу, — словно извинилась Нина, садясь рядом. — Голос. Пою.

— И как… что-то слышишь?

Нина тихо и стеклянно усмехнулась. Она уже на бобах, догадался Баклавский.

— Их там тысячи. Старые матерые гиганты, и самки в расцвете, и крошечные нежные детки. Приветствуют друг друга… Встречают тех, с кем расходились в разные концы океана… Так… красиво… Завтра будет только ужас и страх, но сегодня…

— Они правда поют? — с сомнением спросил Баклавский.

Взгляд Нины поплыл.

— Львы, орлы, куропатки, олени… — она задумчиво погладила кончики его пальцев. — Всё поет, и киты — стократно громче остальных… Иди со мной!

Баклавский думал, что теплее всего ему будет услышать "Иди ко мне", а теперь понял, что ошибался. Нина тщательно облизала ложку и зачерпнула из пиалы белую как снег кашицу. Плавно, будто управляя кораблем, развернула нос ложки к Баклавскому и осторожно протянула руку вперед.

— "Бульварные новости"! — надрывался газетчик где-то в другом мире. — Покупайте "Бульварные новости"! Свежайшая правда о саботажнике Баклавском и невинно утопленных матросах! Зигфрид Любек отвечает, грозит ли городу угольный голод! Шокирующие подробности ночной атаки от капитана "Леди Герды"!

Бобовая стружка захолодила нёбо, густым душным пряным ароматом затекла в горло и ноздри. Нина отползла на середину кровати и потянула Баклавского за собой. Он лёг рядом, свернувшись калачиком, как маленький замерзший мальчик, глядя, неотступно глядя в ее глаза.

— Я принес тебе картинку, — сказал он, почувствовав, что сминает картон во внутреннем кармане кителя.

Нина доверчиво улыбнулась, и помогла ему вынуть рисунок, долго и пристально смотрела на смешные переливающиеся кубики, взгляд ее опять поплыл куда-то вдаль, и она снова улыбнулась:

— Какие шикарные киты!

Баклавский положил ей ладонь на щеку, и что-то страшное, темное, что кальмарьим комком уже долгие месяцы ворочалось в его душе, вдруг лопнуло, рассыпалось и исчезло.

И пришел звук. Из ниоткуда и отовсюду, протяжный как прощальный гудок лайнера, чистый как океан вдали от всех берегов, безумное сплетение трех или четырех нечеловеческих нот. Если нарисовать его, понял Баклавский, то получатся сети плетельщиц.

Голоса города, вползающего в мрачное ритуальное праздненство, утонули в этом звуке без остатка, только дыхание Нины невесомой льдинкой удержалось на плаву.

— Тебе можно верить? — так и не спросил Баклавский, ведь один такой вопрос убивает всё.

Он закрыл глаза. Может быть, когда я усну, ты встанешь, на цыпочках обойдешь кровать, стараясь не скрипеть, выдвинешь верхний ящик секретера, и взятой оттуда опасной бритвой

перережешь мне горло. И отправишь пневмой куда-нибудь в Горелую Слободу или в Канцелярию локон моих волос. И там порадуются — сработала самая последняя, самая хитрая ловушка. Ты хорошая актриса, мне никогда не услышать фальши… Тем более, что ты молчишь. Только в твоем взгляде мне упрямо мерещится что-то другое, и ради этого можно рисковать — хотя какой тут риск, ведь меня устроят оба варианта.

Баклавский почувствовал, как его лица коснулись длинные тонкие чуткие пальцы плетельщицы. Из-под век взошло солнце того нежного цвета, что бывает у поздних ганайских яблок. Доходный дом госпожи Гнездник качнулся, оторвался от берега и поплыл, большой, неуклюжий, неповоротливый, но волны подгоняли его, и вокруг захороводили иссиня-черные круглые спины, взвились веселые фыркающие фонтаны. Звук песни расплелся на отдельные пряди, и теперь они начали завязываться в подобие слов.

На фоне солнца девочка, оседлавшая поручень, казалась сбежавшей из театра теней. Пухлые пальчики сгибали и сгибали листок бумаги.

— Пау! — выкрикнула она, пытаясь напугать Баклавского, и бросила ему на колени бумажного кита. — *Таан йо ийи пла*!

Ты сам большая рыба.

Коричневый, пористый, кривобалконный дом, чадящий кухнями, рыкающий унитазами, шелестящий прохудившейся кровлей, наконец, потяжелел, и быстро пошел под воду. Баклавский и Нина играючи соскользнули с тонущей веранды, и, легко шевельнув упругими хвостами, бок о бок поплыли к солнцу.

Историографические заметки на полях

События, названные позже "Пляской-с-Китами", либо же, по иному, "Кетополийской катастрофой", до сих пор воспринимаются как наиболее драматические в новейшей истории Тихоокеанского региона. Вместе с тем, книги, посвященные тем событиям, не позволяют разобраться во всех хитросплетениях трагических дней того далекого ноября (хотя спектр этих книг весьма широк: от специализированного исследования "Тактические решения управления броненосной эскадрой на примере событий первого ноября 1901 года" Козмо Дантона, до скандально известных мемуаров"..и пришел Кит" Алена Лебре). История Кетополийской катастрофы остается малоисследованной — и не в последнюю очередь оттого, что беспристрастное изложение ее

причин и следствий неминуемо бросает тень на легендарную фигуру г-на Канцлера.

Более: попытки проанализировать события Кетополийской катастрофы, особенно написанные по горячим следам, воспринимаются либо пропагандой правящей верхушки Кетополиса (например, "Море зовет" Грэма Пола и вышедший на его основе графический роман "Глубокое синее море" Гая Лиотты), либо — контрпропагандой эмигрантских кругов, грешащей перегибом в другую сторону: обвинениями в адрес некомпетентности военных, рассказами об одержимости г-на Канцлера и пр. (наиболее известно — психоаналитическое исследование "Воды души: психическая природа одной фобии" Людвига ван Сааба, ученика Адлера и человека, связанного с так называемым "правительством Кетополиса в изгнании"). И тот, и другой подход грешат односторонностью в изложении материала и предвзятостью в системе предлагаемых выводов. Несомненно, и события "Пляски-с-Китами", и последующие — куда сложнее, чем можно понять из разоблачений противостоящих сторон.

Немалый интерес для беспристрастного исследователя представляют два источника, стоящие несколько особняком на фоне обоих отмеченных тенденций. Во-первых, это поэма Сайруса Фласка "Как я съел Кита" — претенциозное полотно на три тысячи строк, самое крупное из известных произведений автора. Как всегда вычурный стихотворный текст "темного поэта" (как он назван Полем Верхарном после первого знакомства со стихами Фласка) повествует о странных видениях героя, в которых тот, превращаясь в кита, слушает песни "старых богов" и пророчествует о будущем Кетополиса (фактически же, учитывая реальное время создания поэмы, — вспоминает). На удивление, анализ поэмы с точки зрения сегодняшнего дня дает основание говорить, что Фласк сумел отразить целый ряд уникальных для понимания тогдашней ситуации сведений. Впрочем, у современников Фласк так и остался при репутации чудаковатого поэта, чьи не всегда вразумительные писания могли быть истолкованы в довольно широком спектре значений (хрестоматийным примером остается его поэма "Одиночество Кальмара", в которой иные из современников видел сатиру на императорскую фамилию Кетополиса, а иные —

пророческие строки, полные скрытого смысла).

Вторая знаменательная книга — "Туда и обратно: история мотылька" Жака-Луи Пельша, вышедшая в Париже через два года после тех трагических дней. Об авторе почти ничего не известно, кроме того, что, по его же словам, он путешествовал по Кетополису как раз во время событий, воспоследовавших после Пляски-с-Китами. В целом, исследователи довольно скептически относятся к запискам Жака-Луи (например, дата прибытия в Кетополис, каковой Пельша называет тридцать первое октября, считалась явственным доказательством подлога — как нарочито драматическая), однако же, когда два года назад в австралийской прессе были опубликованы рассекреченные документы архива Канцелярии Его Величества времен Кетополийской катастрофы, оказалось, что целый ряд сведений Пельша (довольно фантастических, заметим) подтверждается независимыми источниками: в частности, это касается загадочной фигуры Вивисектора.

И вот сегодня, по прошествию почти четырех десятков лет, мы, наконец, попытаемся приблизиться к истинной сути событий тех трагических часов перед воистину апокалиптическими последствиями, которые Пляска-с-Китами имела для Кетополиса.

Данное издание представляет собой попытку художественного изложения подготовленной к печати монографии "Скрытая правда: истоки и смысл трагедии Кетополиса". Поскольку возможная аудитория научного исследования показалась авторам слишком узкой, была предложена идея представить выводы книги в виде художественных текстов, своего рода "мгновенных отпечатков" действительности, восстанавливающих как самый Zeitgeist, "дух времени", так и последовательность событий конца октября — начала ноября того несчастливого для Кетополиса года.

Вместе с тем, поскольку художественная канва произведений, представленных в данном сборнике, требует скептического взгляда, было решено снабдить каждый текст научными комментариями, позволяющими публике самой делать выводы о степени аутентичности предоставляемых сведений.

Итак, перед вами пройдут семь человек, каждый из которых расскажет свою историю — так, чтобы все семь

слились в призрачную, но правдивую песнь любви, чести и предательства. Старый китобой, полицейский инспектор, монашка ордена Ионы Благочестивого, мальчик-бродяжка из рабочих кварталов, туземная девушка из-под стен Патройи, сиамский головорез и врач Его Величества — каждый из них раскроет перед вами фрагмент мозаики. И каждый расскажет правду. Свою правду.

Напоследок, хочется отметить: события последних лет, толкающие Европу в пропасть новой Мировой Бойни, делают рассказ о Кетополийской катастрофе как никогда актуальным — особенно учитывая смутные пророчества поэмы Сайруса Фласка. Ведь доподлинно известно, что ряд этих предсказаний касается не только судьбы Кетополиса, но и всего мира в целом — например, аннексия немцами Судетской области, метафорически описанная героем-китом. И что-то нам еще готовит грядущее, начавшееся накануне "Пляски-с-Китами" в далеком от Европы Кетополисе? Что-то еще грядет?

Мы — ждем, читатель. Мы — ждем.

Ажани Батакален
Предисловие к изданию "Пляска-с-Китами", Париж, 1939 год

Живое щупальце: История рабочего

Звук шаркающих ног, кашель, харканье, бубнящие голоса… У Джоу создавалось полное ощущение, что вокруг него автоматы. Заводные куклы со сложной, но всё-таки ограниченной программой и ограниченным же временем её действия. Сейчас внутрь автоматам вставили диск с дырочками и шпенёчками, сочетание которых велело куклам двигаться к фабрике, взвели спусковую пружину, и те побрели. Механизмы у них, как видно, порядком износились — от слишком частого выполнения программ попоек, работы, избиений друг друга или грубых совокуплений, — поэтому перемещались человекоподобные механизмы еле-еле, нога за ногу.

Интересно, успеют ли к началу смены?

Джоу Ируд вынул из кармашка часы, откинул крышку с изображением гарпунщика (прозвенело "а нарвал трубит о гибели") всмотрелся в циферблат. До гудка оставалось около четверти часа. Примерно столько же, сколько до восхода солнца, отметил Джоу. Был у него пунктик, узнавать утром по отрывному календарю о продолжительности дня, фазе луны и прочем в том же духе. Бесполезное наследие благополучного детства. Такое же никчёмное, как предрасположенность к умствованиям и забота о внешности. Да, кстати о внешности! Джоу потёр лоб. Перед глазами запорхали чешуйки. Значило это, что проклятая мазь ни черта не помогла, кожа шелушилась так же, как и прежде. Зато уж обжигало "патентованное притирание дальневосточных шаманов" о-го-го! Словно щёлочь. А воняло — как сто выгребных ям сразу.

Джоу вспомнил бегающие глазки торговца, подсунувшего ему баночку с мазью, вспомнил быструю речь, полную фальшивых восторгов по поводу её "воистину волшебного действия", и понял: шарлатан отлично знал, что притирание — дерьмо.

"Встречу скотину ещё раз, заставлю сожрать эту отраву", — решил Ируд.

Настроение у него и без того было дрянным, а теперь испортилось окончательно. "Коллеги и товарищи по работе" (до чего же издевательски звучат порой обращения начальства) стали ему казаться уже не механизмами, а примитивными животными. Или даже частями одной огромной, отвратительной твари. Каракатицы какой-нибудь. Колонны рабочих были её щупальцами, раковиной являлось спиралевидное, отливающее бронзой здание фабрики, а "чернилами" — жирный дым фабричных труб. Роль присосок на щупальцах исполняли мерзостные рожи "коллег и товарищей". До того серые, плоские и

однообразные, что можно сказать — лиц совсем не было. Будто их срезали, а взамен швырнули на обнажившуюся кость по пригоршне порриджа.

Неожиданно, словно перекликаясь с этой мыслью, поблизости послышался разговор. Говорили двое, пожилой сухонький мужичок в кепи с лопнувшим козырьком и толстяк с глазами навыкате. Переговаривались шепотом, но так страстно, будто речь шла о жизни и смерти.

— Да ты хоть знаешь, кто владеет фабрикой на самом деле? — ярился сухонький.

— Известно кто, совет директоров, — рассудительно отвечал пучеглазый.

— Дурак ты! Камбала! Ты слушай, о чём говорю! Не руководит, а владеет. Разницу улавливаешь? Директоры — они только для виду. А владелец… — пожилой сделал драматичную паузу, которая должна была добавить сказанному весомости, но явно недотянул её и выпалил: — Человек без лица!

— Что, совсем безо всего? Ни носа, ни глаз? Как бабья коленка? — хохотнул пучеглазый. Верить глупостям приятеля он, судя по всему, не собирался. Тот сперва обиделся, но потом не утерпел, кинулся разъяснять:

— Да нет, не как коленка. Скорей как раскрытый моллюск. Или будто мясо варёное. Или — хи-хи — как женский орган. А так-то вообще, да: ни глаз, ни носа.

— Откуда знаешь?

— Динетти сказал. Он в управе воздух спускал из системы отопления, вот и видел. Привели, значит, этого безликого со всем почтением. Сам господин Блазковитц стелился перед ним как шлюха перед богатым клиентом. А тот высокий такой, весь в чёрном. Воротник у плаща поднят, шарф намотан, шляпа на глаза надвинута. Динетти ничего бы и не разглядел, но тут какой-то посыльный с бумагами… Будто мурена из норы выскочил да на чёрного-то налетел. Ну, шляпа и свалилась… Посыльного сразу за шиворот цап-царап, и ага. Уволокли. А Динетти от удивления чуть не окривел.

— Это какой Динетти? — спросил пучеглазый. — Водопроводчик? Которого вчера паром обварило, что ли?

— Как обварило? — ахнул сухонький.

— А вот так. История тёмная, свидетелей нету. Вроде, в машинном вентиль сорвало, ему в харю-то и фукнуло. Вся шкура долой. Сам стал как раскрытый моллюск или женский орган. Не сегодня-завтра сдохнет.

— Господи ты боже мой! Неужели из-за того, что безликого видел? — пробормотал рассказчик и начал суетливо

оглядываться.

Ируд сбавил шаг, опустил лицо, чтоб пучеглазый и сухощавый не заметили его любопытства, начал задумчиво покусывать ус. Усы у него были знатные. Ухоженные, длинные. Они свисали в виде остроконечной подковы до самого подбородка, что в купе с круглыми щеками, вечно прищуренными глазами и прямыми чёрными волосами делало его отдалённо похожим на бирманца. Джоу знал, что за спиной его так иногда и кличут, но прямо в лицо называть не рискуют. Связываться с Ирудом считалось сущим безрассудством. Говорили, что он никогда не раздумывает, ударить ли человека, который чем-то ему не угодил. Бьёт. Бьёт беспощадно, наповал: силой и резкостью природа не обидела. А при случае может пырнуть ножом или переломать голени обрезком водопроводной трубы.

Желающих проверить правдивость слухов не находилось. И означало это, что дело распространения историй о жестокости Бирманца Джоу поставлено правильно.

Ируд выплюнул ус, нагнал сухощавого с пучеглазым и больше не отставал от них. До самых фабричных ворот.

* * *

Створка была открыта лишь одна, да и в ту следовало входить только по сигналу старшего привратника. Под цепкими взорами ещё троих, рангом пониже, но статью мощнее. Правило такое появилось совсем недавно, всего недели две назад. Прежде на смену и со смены валили все враз, скопом, с давкой, руганью. Полусонные старики-вахтёры, обладатели роскошных бакенбард и пустых кобур (обычно флотские отставники; на фабрике их называли "свистками") относились к бардаку в воротах абсолютно безразлично. Было вообще непонятно, за каким дьяволом они тут находятся, для украшения что ли?

Сейчас же вместо бездельников-"свистков" появились настоящие церберы. Рожи висельников, кулаки с арбуз, армейские револьверы. У старшего — овчарка горной породы. Перемене охраны было уже около двух недель, и Джоу понимал: означает это, что на фабрике скоро закончат строить то, что строят. Да и все-то на фабрике это понимали. Не понимали, не знали лишь одного. Что именно изготовляют?

Болтали, конечно, много. В разных цехах наибольшей популярностью пользовались различные версии. На прессовом участке, где трудился Джоу, почти никто не сомневался, что строят железный аэростат. Дескать, подземные мозгляки отрыли

канал, по которому из недр идёт летучий газ. Он в тысячу раз легче воздуха, посему для воздушных шаров — самое то. Проблема лишь одна. Если сделать аэростат из ткани, пусть даже из самой прочной парусины, газ порвёт оболочку к китовой матери. Сразу. А если и не разорвёт, аэростат в мгновение ока улетит на Луну. Железный же корпус — поверх эластичного пузыря — в самый раз. В доказательство приводился факт, что в "вулканизационном" льют толстенные резиновые пластины. Как будто для бурдюка размером с гору. Да и производство безумного количества бронированных шлангов худо-бедно объяснялось.

Ируд лишь похохатывал, слушая фантазёров. В школе, где он учился, пока не погибли родители, преподавали, что самый лёгкий газ в природе — водород. Другие попросту не могут существовать. Да и шланги для аэростата абсолютно не требуются. Во всяком случае, нужны они не больше, чем страшненькие стальные крючья, которые штампуют сотнями в кузнечном цехе. А, допустим, присоски размером с хорошую миску, что изготавливаются на конвейере? Каждая напоминает цветок и состоит из сотни узких бронзовых сегментов, между которыми белая мягкая резина, — зачем они-то могут понадобиться аэростату? К облакам прилепляться? Смех, да и только.

Не менее популярным являлось предположение, что строится бронепоезд. Чудовищный вездеходный локомотив, который будет разъезжать без рельсов, на огромных надувных колёсах и обжигать врагов нагретым паром и кипятком из особых пушек. Резиновые пластины, изготавливаемые в "вулканизационном" — для колёс.

Были слухи и более простые, приземлённые. Например, такой: броненосцы собираются переводить на какое-то новое топливо, очень едкое, разъедающее даже сталь. Шланги туда, и бурдюк тоже туда.

Всё это была полная и окончательная чушь, считал Ируд. У него имелось собственное соображение. Слишком сумасшедшее и страшное, чтобы делиться им с кем бы то ни было, и оттого чрезвычайно похожее на правду. Он считал, что скоро всем фабричным вырежут кишки, а на освободившееся место вставят эти самые шланги. Тогда директорату можно будет совсем не беспокоиться о пропитании рабочих и прочих телесных проблемах, понижающих производительность труда. Залил такому андромеху порцию минерального масла — и на месяц. В эту версию укладывалось многое. Помещалось аккуратно и верно, как ось во втулку. Присоски? Вживят андромехам в животы, чтобы они могли работать хоть на вертикальной стене, хоть на потолке.

Огромный бурдюк? В нём неприхотливые пролетарии будут жить, а крюки заменят некоторым из них конечности. Остальная продукция — броневые пластины с заданной кривизной, огромные хрустальные линзы, величественные шарниры, точно предназначенные для суставов атлантов — будут использованы, вероятно, во флоте. Подростком, работая на верфях, Ируд повидал и более странные предметы. Одни детали орудийной башни чего стоят!

…Наступила очередь проходить через пост сухощавому с пучеглазым. Оба к этому времени давно молчали, изображая сообразную времени и обстоятельствам покорность.

Когда первый из болтунов шагнул в ворота, Ируд мучительно закашлялся. Старший привратник и ухом не повёл в его сторону, однако на знак отреагировал оперативно. Сухощавый едва успел пискнуть, как один из здоровяков подхватил его под локоток и потянул в сторону. Джоу продолжал кашлять, колотя себя по верхней части груди раскрытой ладонью и мотая головой. Движения его макушки, на сторонний взгляд хаотичные, указывали на пучеглазого.

— Шаг влево, — коротко скомандовал тому старший охраны.

Толстяк попытался спорить, вытащил и принялся размахивать какой-то на его взгляд очень важной бумажкой.

— Возражать? — лениво спросил привратник и особенным образом причмокнул губами. Овчарка сейчас же оскалила зубы, сделала движение к толстяку. Тот немедленно заткнулся. Его увели.

Толпа безмолвствовала, лишь слабо попукивала будто тесто в кадке. Ближние боялись лишний раз пошевелиться и отводили глаза. Дальние наоборот вытягивали шеи, чтобы лучше разглядеть неожиданное развлечение. Можно биться об заклад, утреннее задержанием двоих не то бедолаг, не то преступников станет темой разговоров минимум на сутки. По фабрике давно циркулировали слухи о возможных диверсиях, поэтому чего-то подобного — задержаний, может быть даже стрельбы, — ждали.

Ируд перхал и вытирал платком накатившие слёзы. Чёртов тупой спектакль, думал он. Чёртова скотская комедия. Чувствуешь себя не только стукачом, но и полнейшим кретином.

— Ты, чахоточный, живее поршнями шевели! — рявкнул охранник.

Джоу мотнул головой и, посасывая ус, прошмыгнул на территорию фабрики.

* * *

Под прессом опять натекло масло. Байбак из ремонтной службы вчера клялся и божился, что проверил все соединения, заменил сальники, протянул гайки — и бежать маслу совершенно неоткуда. Сейчас было бы самое время натыкать урода лживым рылом в лужу. К сожалению, отлучаться с рабочего места помимо времени "санитарной паузы" или обеденного перерыва строго запрещалось. Надежды же на то, что слесарь случайно будет проходить мимо, не было ни малейшей.

Ируд помянул чрево китовой матери, ласты дюгоня; проверил натяжение приводного ремня и опустил рычаг, зажимающий фрикцион на шкиве. Через минуту рявкнула сирена, в машинном отделении зашипело, застучало; визгливо заорал бригадир кочегаров. Не то отчитывал кого-то, не то просто с похмелья присел на раскалённый паропровод. Проходящий под потолком вал общего привода медленно, будто нехотя начал раскручиваться. Зашуршали десятки ремней, тянущихся к станкам. Будто по волшебству откуда-то возникли и побежали чумазые уже с начала смены пацаны с тележками, полными заготовок. Красавчик Энцо, не только коллега по работе, но и приятель по досугу, сверкая зубами завёл итальянскую песенку про беспутную девчонку и усатого сеньора.

Ируд сунул под пресс первый штуцер и первую резиновую кишку в чешуйчатой оплётке, а в рот комок "теста" — не вулканизированного каучука. Нажал педаль. Кривошип лязгнул, стальные челюсти формователя сжались. Смена началась.

Если бы не "тесто", куда тайком добавлялись различные присадки, от сахара и кокаина до, поговаривают, мучки из синих бобов, вытерпеть однообразный процесс не было бы никаких сил. Впрочем, бременем монотонного труда во всём цехе тяготился, похоже, один Джоу. Он проклинал родителей, умерших столь не вовремя, проклинал родственников, сдавших его на верфи, а пуще прочего — себя. Чистюлю, так и не сумевшего за двадцать лет приспособиться к простому, дьявол его забери, человеческому труду. Остальные же, как и положено заводным куклам, меняли внутри головы диск с дырочками да шпенёчками, закручивали пружину — и спокойно выполняли программу. А может быть, в целях экономии даже пружину не использовали. Подключались к тому же ремню, что и станки.

— Снова спустил?

Голос мастера прозвучал внезапно. Задумавшийся Джоу вздрогнул от неожиданности.

— Чего?

— Пресс, говорю, снова у тебя брызнул. — Мастер озабоченно покачал головой. — Не следишь ты за техникой, Ируд. А вычтут

за поломку, наплачешься. Да ведь ладно, если только вычтут, а то ведь и с фабрики попереть могут. Шутка ли, пресс!

— Слушай, Ковач, — огрызнулся Джоу, — что у тебя за гнусная привычка под руку каркать? Славянская, что ли? Ты бы вместо того, чтоб меня от дела отвлекать, лучше ремонтника взгрел. Этот ублюдок вчера ничего не починил. Поэтому и брызжет.

— Во-первых, я не какой-то там славянин, а мадьяр, — завёлся Ковач. Вопрос собственного происхождения волновал его до чрезвычайности. — Сколько раз повторять? А во-вторых, не тебе меня учить, тому, что лучше. Умник тоже… Думаешь, если у чистых родился, в школе задницу отращивал, если господин Бифер к тебе благоволит…

— Понесло по волнам падаль, — фыркнул Джоу и засвистел, подзывая мальчишку с порожней тележкой. Ящик для готовой продукции был уже полон. — Ни черта такого я не думаю, Ковач. Просто соображаю, что сказать господину Биферу, если пресс на самом деле крякнет. Что ты равнодушно отнёсся к моему сообщению о безответственности ремонтника? Или — что отнёсся со всем вниманием, если не сказать душевно? А, Ковач?

Мастер смерил Джоу ненавидящим взглядом, развернулся и зашагал в сторону слесарки.

— Крутой ты, дядя Ируд! — завистливо сказал парнишка и схватился за проушину ящика. — Я на Ковача глаз поднять боюсь, не то, что вякнуть против.

— Да, я такой. Настоящий ураган. — Джоу оттеснил его, легко поднял ящик в одиночку и с грохотом опустил на тележку. — Вперёд, селёдка! Ну, чего застыл?

— Спросить кое-чего хочу. Можно?

— Валяй, только живей.

— А правду говорят, будто за то, что тебя какой-то козёл назвал бирманцем, ты ему ножик в ливер засадил? — спросил парнишка.

— Брешут. Мы, бирманцы, ножом для мести не пользуемся. У нас для этого шёлковая удавка предназначена. Знаешь, какое удовольствие услышать предсмертный хрип задыхающегося врага! А ножами мы любопытным селёдкам вроде тебя языки вырезаем. А потом едим! Прямо сырыми! — Джоу сделал страшное лицо.

Парнишка несмело улыбнулся и навалился на рукоятку потяжелевшей тележки грудью.

* * *

До первой "санитарной паузы" Джоу едва дотерпел. Повышающий мужскую страстность отвар из стеблей "попрыгунчика", которым его потчевала прошедшей ночью толстуха Ванда, обладал сверх желаемого действия ещё и побочным. Воистину ураганным мочегонным эффектом. Джоу знал об этом доподлинно, но применял средство снова и снова. Испытывать к Ванде страсть без отвара "попрыгунчика" было проблематично. С одной стороны, Ируд не отличался особой разборчивостью, когда дело доходило до постельных радостей. Баба, она баба и есть. Но с другой стороны… уж больно объёмиста и бесформенна была Ванда. Чистый осьминог.

После того, как сгинула в проклятых джунглях его Кэт, его тоненькая Козушка, женщин для Джоу попросту не осталось. Разве только в синематографе да в графических романах. Остальные представительницы нежного пола делились на чьих-то жён, доступных баб и незрелых девочек. Впрочем, первая и последняя категории рано или поздно сливались со второй. На взгляд Ируда, главной, а возможно, единственной. В конце концов, артистки, аристократки, даже плетельщицы принадлежали каким-то мужикам. И, надо полагать, с различной степенью лёгкости переходили из рук в руки. Как, бишь, выражается циник и кобель Энцо? "Нет женщин, которые отказывают. Есть мужчины, которые не умеют просить".

Одна-то была, мог бы возразить Ируд. Если бы решился побеспокоить пустою болтовнёй память о Козушке Кэт. Таинственная, как чертёнок и прекрасная как ангелочек. С фигурой подростка и темпераментом взрослой женщины, точно знающей, почём фунт тресковой печёнки. Не "чистенькая", но и не из здешних шалав. Занималась Козушка неведомо чем, часто пропадала из города. Возвращалась загорелой, с цыпками на руках и волдырями от укусов насекомых. На расспросы отвечала смехом. А однажды — не вернулась. Ируду передали какую-то невразумительную писульку, из которой он разобрал лишь то, что Кэт скончалась от малярии, и что могила её находится в недоступном месте. Осознав, что Козушки больше никогда с ним не будет, Джоу запил. Чудовищно, буйно. Дневал и ночевал то в кабаках, то в кутузке. Тогда-то его и вышибли с верфей. Ему было всё равно. Он спустил до гроша сбережения, которые откладывал на свадьбу с Козушкой; влез в долги, из-за которых пришлось заниматься делишками настолько грязными, что лучше не вспоминать. Он, вероятно, сдох бы где-нибудь с заточкой в боку, если б не Красавчик Энцо. Кажется, Энцо был кальмар-знает-сколько-родным кузеном Кэт. Он поручился за Ируда перед господином Бифером. Заплатил кому-то какие-то откупные.

Нанял сиамскую ворожею, умеющую отучать людей от опиума и пьянства… Словом, Джоу был сейчас обязан Красавчику Энцо абсолютно всем.

Поэтому ненавидел его.

Тихо, обречённо ненавидел.

К тому времени, как он опорожнил мочевой пузырь, "коллеги и товарищи" уже задымили всю курилку. Обсуждали утреннее происшествие на проходной. Шумели так, будто собирались подраться.

— …А я говорю, шпионы! — орал, брызжа слюной, мастер Ковач. — Вы ни черта не знаете, а нас собирали и рассказывали! Русские шпионы наводнили Кетополис, ясно? Kozaki. Их царь давно уже собирается нас завоевать.

— Я слышал, он помешанный, — вклинился Энцо. — Притом буйно.

— У них все цари помешанные. Это традиция такая. Принцев и принцесс с самого детства помещают в монастыри и там сводят с ума. Потому что нормальный монарх Россией править не сможет. От морозов умрёт. А умалишенным мороз безразличен.

— Ладно, хватит про это, — замахал единственной рукой пустобрёх Ди. — Ты про шпионов рассказывай! Чего они хотят разведать-то?

— Ты дурак, нет? Рыбе ясно, что. Узнать, чего мы строим.

— А чего мы строим? Я бы тоже узнать хотел поточнее.

— Ого, а почему тебя это интересует? Может, ты тоже шпион? Тоже kozak? Ты где руку потерял, а? Отморозил в Сибири, когда под ёлкой с поршеньком своим баловался?

Заржали. О том, что руку Ди ампутировали после того, как он сунулся смазывать работающую шестерённую клеть, где кисть вместе с маслёнкой размололо между зубчаток, знали все.

Ди, конечно, полез в бутылку, но его живо успокоили.

— Парни, а кто-нибудь видал, как шпионов арестовывали? — спросил, отсмеявшись, Красавчик Энцо. — Может это так, предпраздничные байки?

— Я видел, — без охоты признался Джоу. Можно было и промолчать, но вдруг там был ещё кто-нибудь из знакомых? Молчание расценили бы как подозрительную скрытность. — Взяли двоих. Один старик, другой примерно моих лет. Ни одного не знаю. Старика, вроде, видел на конвейере, но не уверен. Ну, схватили без видимых причин. Просто раз — и: "Пройдёмте!". На того, что помоложе, собаку натравили, чтоб не выступал. Меня как раз кашель разобрал, так что подробней не скажу.

— Раз без видимых причин, значит точно шпионы! — уверенно заключил Ковач. — Следили, значит, за ними давно, а

сегодня схватили. Аккурат к празднику, чтоб перед начальством отчитаться. Небось, по медальке сейчас получат.

Логика мастера показалась курильщикам безукоризненной. Она бы и Джоу такой показалась, если б он не знал правду.

— А нам-то что-нибудь пожалуют к праздничку? — спросил Ди.

— Нет, безрукий, ты точно дурак или шпион, — рассердился Ковач. — Премию, само собой. Смена на два часа короче. Что, мало?

— Мало. Бирманцы вон вообще не работают.

— Так у них-то праздник сегодня. Се-го-дня!

— Да они и в другие дни ни хрена не работают, — махнул культяпкой Ди. — Суки желтопузые. Подогнать бы броненосцы поближе, да пальнуть по Пуэбло-Сиаму из главных калибров. Фугасными. Залпом. Чтобы духу не осталось.

Снова рявкнула сирена. "Санитарная пауза" закончилась. Рабочие потянулись по местам. Теперь уже до самого обеда.

* * *

На обед у Джоу были бутерброды с ливерной колбасой, огурец и бутылка простокваши. Он как обычно перевернул вверх дном ящик для готовых шлангов, бросил сверху ветоши. Уселся, прислонившись спиной к тёплому боку пресса, и начал флегматично набивать утробу. Колбаса отдавала водорослями, зато простокваша была бесподобна. Кисленькая, прохладная (бутылку предусмотрительный Ируд держал в ведре с водой). И сахару в самый раз. Всё-таки от толстухи Ванды была некоторая польза и помимо удовлетворения похоти.

Не успел Джоу управиться с бутербродами, как к нему подбежал давешний парнишка.

— Джоу Ируд, тебя господин Бифер кличет!

Джоу кивнул и продолжил жевать. Не хватало ещё явиться к начальнику цеха с набитым ртом. Мальчик не уходил. Он присел на корточки и следил за движениями ирудовых челюстей как голодная собачонка.

— Жрать хочешь, селёдка?

— Не-а, я уже перекусил. Просто ты ешь вкусно, смотреть нравится. Мой папка так же кушал.

— Почему кушал? Умер?

— Не-а. На каторге бедует. Детишек для морлоков воровал. Ладно ещё, не повесили.

— Я бы повесил, — сухо сказал Джоу. Он допил простоквашу,

утёр усы тыльной стороной ладони и встал. Узелок с последним бутербродом и нетронутым огурцом бросил мальчишке. — Доешь-ка, селёдка. Тряпицу тут оставишь.

Шагая в кабинет к начальнику, он думал, что пацану наверняка хотелось, чтобы крутой как девятый вал Бирманец поинтересовался его именем. Было бы чем хвастаться перед приятелями во время праздника. А может, и перед мамкой. Джоу поймал себя на мысли, что не отказался бы на неё взглянуть. Если сын удался в родительницу, то баба должна быть настоящей красоткой.

Кабинет господина Бифера располагалась на втором уровне. Одна стена у помещения была почти сплошь стеклянная; рамы двойные, чтоб не лез в уши шум и лязг. Сверху вдоль окон пролегали жестяные короба жалюзи: иногда и начальнику требуется уединение. С этого капитанского мостика господин Бифер — по слухам, бывший морской офицер — мог наблюдать за копошением подчинённых, не вылезая из-за стола. Надо отметить, рабочих это здорово дисциплинировало.

Джоу стукнул в дверь. Господин Бифер, конечно же, видел его приближение, поэтому откликнулся незамедлительно:

— Входи, Ируд.

Джоу вошёл.

— Пообедать успел?

"Ничего себе забота! — насторожился Джоу. — К добру ли?"

— О да, конечно, — сказал он бодренько. — Спасибо, господин Бифер.

— Замечательно. За-ме-ча-тельно… — Бифер пожевал губами. — Ируд, я не стану тянуть моржа за клык. Какого чёрта ты утром показал нашим бравым часовым на тех двух идиотов?

— Н-но, господин Бифер… Неужели они не раскололись? — осторожно справился Джоу.

— Ты всегда был наглецом, Ируд. Разве такому, как ты положено задавать вопросы такому, как я? Впрочем, молчи. Помню, ты же едва ли не белая кость. Инженерский отпрыск, жертва обстоятельств и человеческой подлости, да?

— Вроде того.

— Вроде того… угу… Короче говоря, Ируд, твоё рвение в деле выявления подозрительных лиц пошло киту под брюхо. Наши мясники перестарались. В виде разминки начали бить задержанных ещё до допроса. Тот, что постарше, загнулся сразу. Врач определил: сердце. Второй целёхонек, но несёт какую-то ахинею о говорящих рыбах и электрическом скелете, который приходит к нему по ночам и поёт колыбельные песенки. Похоже, рехнулся, когда пару раз получил по темечку справочником по

головоногим.

"Интересно, зачем охране такая книжка?" — подумал Джоу и сообщил:

— Они говорили о "человеке без лица", господин Бифер. Вроде как старику рассказывал о нём какой-то Динетти. Водопроводчик.

— Динетти? — заинтересовался начальник. — Водопроводчик? Не тот ли, которого вчера в машинном паром обварило?

— Именно тот, господин Бифер. Эти двое считали, будто вентиль на паропроводе сорвало не просто так. Будто водопроводчика нарочно ошпарили. Чтобы не проболтался о Безликом.

— Неужели? — весьма ненатурально удивился Бифер. — Да кто он такой, этот Безликий, если только за встречу с ним человека толкают под струю пара?

— Будто бы настоящий владелец нашей фабрики. Или заказчик продукции, — присовокупил от себя Джоу.

— Любопытно, — пробормотал господин Бифер. Он выдвинул ящик стола, достал два стакана и полупустую фляжку рома. Фляжка была не плоская, а кубическая. Тяжёлая, толстенного стекла, с очень широкой горловиной. Бифер откупорил крышку, плеснул рому в стаканы. Себе побольше, Джоу чуть-чуть на дне. — Угощайся, Ируд.

— У меня ещё смена не закончилась.

— Ерунда. Капельку можно. Считай, что в честь завтрашнего праздничка. Ну и как он выглядит, этот человек без лица? Совсем голый фасад? Вроде бильярдного шара или, — Бифер хохотнул, — лысины господина Блазковитца?

Джоу от столь смелой шутки едва не поперхнулся ромом. До него вдруг дошло, что Бифер уже порядочно пьян. Не то начал отмечать праздник заранее, не то чего-то до смерти напугался. И, кажется, второе вернее. Движения у него были чересчур суетливыми, а речь преувеличенно жизнерадостной.

Ируд отхлебнул из стакана, изобразил на лице восторг качеством пойла. И лишь потом ответил:

— Старик сказал: скорей вроде раскрытого моллюска. Или будто мясо варёное. Или как женский орган. Простите, господин Бифер.

— Брось, — отмахнулся тот. — Что я, не мужчина что ли? Думаешь, мало этих самых органов повидал? Немало, Ируд, ой немало…

Он в два огромных глотка дохлебал ром, наполнил стакан вновь и вновь быстро опустошил. После чего смахнул со стола

какие-то бумаги, взгромоздился на него обширным седалищем, поёрзал, устраиваясь наиболее удобно, и уставился на Джоу. Один глаз у господина Бифера подёргивался. В глубоком молчании прошло несколько минут.

— Он и впрямь не имеет человеческой физиономии, Ируд, — проговорил наконец господин Бифер. — Только ошибся этот твой варёный водопроводчик. Не моллюск у него вместо лица, а морской ёж. Сто иголок, а между ними бледные жгутики. Извиваются, Ируд. Но иногда иглы и жгутики втягиваются. И тогда видно, что под ними выгнутая поверхность. Вроде китового бока. Как чёрное зеркало, как гудрон… и дырочки. Множество дырочек… Ты бы увидел, в штаны бы навалил, Ируд. Хоть и считаешься у работяг смельчаком. Сотню ставлю против зубочистки, что навалил бы! А вот я ничего. Только пью второй день без остановки, а в целом — ничего.

Джоу растерялся. Откровенность начальника пугала.

Господин Бифер пошарил за спиной, схватил бутылку и надолго к ней присосался. Потом бросил её в угол, погрозил Джоу пальцем и внезапно принялся ржать.

— Здорово я тебя разыграл, а, Ируд? Признайся, уже был готов обделаться?!

— Точно, господин Бифер, — с готовностью согласился Джоу. Он совершенно ясно видел, что смех Бифера фальшив. Начальник до того не в себе, что в любой момент может впасть в истерику или в буйство. — Прямо живот закрутило от страха. Ещё чуть-чуть и испорчу вам воздух. Можно я пойду?

— Можно козу на возу, Ируд, а во флоте "разрешите", ясно тебе! Эх, беда с вами, с пролетариями. Су-хо-путные… Хорошо, иди. О разговоре нашем, сам понимаешь, молчок… Болтунам тут часто паром брызжет в рожу. И не только водопроводчикам.

— Я всё понимаю, господин Бифер. Вы меня знаете. Могила.

— То-то и оно, что могила, — сказал господин Бифер и начал сползать со стола.

Когда Джоу аккуратно прикрыл за собой дверь, в кабинете загремел падающий стул, и почти без паузы шумно шмякнулось что-то ещё. Что-то тяжёлое и мягкое. Вслед за этим голос господина Бифера завернул такое, что у Джоу Ируда, обитателя рабочих кварталов, запылали уши.

* * *

До конца обеденного перерыва оставалось всего несколько минут. Ируд, запихнув в рот свежий кусок "теста" с мятной

отдушкой — чтобы поменьше шибало ромом — поспешил в курилку. Парни наверняка собрались там, обсуждают планы на сегодняшний вечер и на завтрашний день. Сердятся, наверное, что Джоу опаздывает.

Так оно и оказалось. Все были в курилке. Морды у большинства раскраснелись — определённо, спорили.

— Где тебя носит, чёртов ты морж! — сейчас же заорал однорукий Ди. — Опять у начальства тёрся? Вон, в усах крошки застряли. Небось, белые булки кушал, сладким джемом заедал.

— Да хоть бы и так, — пожал плечом Джоу. — Тебе-то что за дело?

— Мне дело до всего есть. Я у вас, у сопляков, вместо боцмана! Если бы не я…

— Заткнись, Ди, — оборвал его Красавчик Энцо. — Короче так, Джоу. План мы уже составили, возражения не принимаются. После гудка расходимся по домам, к половине девятого собираемся у "Канатоходца".

— А я настаиваю, что у "Раненого кашалота" лучше, — встрял однорукий.

— Заткнись, Ди, — снова сказал Энцо. — Голосовали за пивную? Голосовали. Ты остался один? Остался. Всё, разговор окончен. Сиди, помалкивай.

— Я не один был за "Кашалота"! — заспорил Ди. — Мастер Ковач воздержался. И Джоу не голосовал.

— Я за "Канатоходца", — мстительно сказал Ируд и повернулся к Энцо. — Что дальше, Красавчик?

— Дальше — как в прошлый раз. Пьём до тех пор, пока боцман Ди не начнёт нам, соплякам, рассказывать, про то, с каким звуком кости в шестернях перемалываются. Едва начнёт, хватаем его в охапку и двигаем искать ослов из вулканизационного.

— Не ослов, а "волов"! — поправил мастер Ковач. Называть "волами" извечных противников прессового участка придумал именно он.

— Да, само собой. Находим "волов", метелим, гоним на тумаках до канала, снова метелим, макаем в водичку. Затем к девочкам. Утром встречаемся у "Кашалота", часов в десять. Дальше как выйдет.

— В десять я ещё не встану, — капризно сказал мастер Ковач. — Это вам, работягам чумазым, шары чуть свет продрать проще, чем насекомых на девке подцепить. А мы, инженерные работники мадьярского происхождения, любим понежиться в праздничек-то. Да с похмелья-то.

— Мы тоже, господин мастер… Мы тоже… Тогда в

одиннадцать, — решил Энцо.

Все согласились. Если разговор шёл о действиях коллектива прессового участка за забором фабрики, авторитет Красавчика Энцо был непререкаем. Возражать ему осмеливался лишь однорукий пустобрёх Ди, которого всё равно никто не принимал во внимание, да изредка Джоу. К доводам Джоу прессовщики прислушивались, считая его мужиком умным. Как-никак приобрёл неполное среднее образование. Кроме того, в беседах Ируд держался уверенно и умел вовремя высокомерно умолкнуть, отчего казалось, что он знает больше остальных. Немаловажным было и то обстоятельство, что к Джоу благоволил сам господин Бифер. И даже доверял руководить участком во время отсутствий мастера Ковача. Ковач частенько болел. Не увольняли его лишь потому, что знали: в директорате окопался венгр. А кумовство у славян развито ой-ой-ой. Что бы там ни кричал Ковач о глубоком отличии мадьяр от разных там сербов.

Ну кто ему поверит, в самом-то деле?

Джоу взглянул на часы. По ним выходило, что обед закончился уже пять минут назад. Сирены почему-то всё не было. Мастер Ковач тоже вытащил свои ржавые ходики, охнул и погнал подчинённых по местам.

Работа после перерыва не ладилась. Настроение у народа было откровенно предпраздничным, даже мальчишки с тележками шевелились на редкость лениво. К тому же в котельной что-то бесперечь барахлило; трансмиссионный вал то и дело останавливался. Джоу подозревал, что объяснение поломкам проще морской гальки. Кочегары уже надрались. У них и в обычные-то дни водилась выпивка (этиловый спирт полагался для обслуживания машинерии), а уж накануне праздника…

Понемногу смеркалось. Газ в светильниках с целью экономии был прикручен до минимума, а окна в помещении прессового участка практически отсутствовали. Да и те, что имелись — высоко под потолком — были малы и заросли многолетней пылью и копотью.

Время двигалось всё медленней, словно было заодно с начальством. Словно черепашьим своим ходом компенсировало укороченную смену. Джоу изнемогал, чувствуя, как постепенно наполняется раздражительностью. Тем "волам", которые сегодня угодят под его кулак, точно не поздоровится.

Вдруг что-то случилось. Джоу почувствовал это всей шкурой, ещё за минуту до того, как со стороны кладовых донёсся шум. Ируд напрягся, ожидая чего-то недоброго — и в этот момент на складе загремело. Будто повалились штабеля контейнеров с продукцией. Однако такое было трудно даже представить,

контейнеры стояли чрезвычайно надёжно. Столкнуть их могло разве что землетрясение.

— Что происходит? — крикнул Джоу спешащему мимо мастеру Ковачу.

Тот не ответил, лишь яростно выбранился. В этот момент погас свет. Шум в кладовых усилился. Ящики там уже не просто валились на пол, а, кажется, летали по всему помещению, разбрасываемые титанической рукой. С пушечным громом вышибло дверь. Фукнул и пошёл свистеть перебитый ею паропровод. Завелась и тут же умолкла сирена.

— Диверсия! — дико заверещал кто-то. — Это диверсия! Спасайтесь!

Джоу без долгих раздумий втиснулся под выступ станины пресса, загородился ящиком со штуцерами. В диверсию он верил мало. Зато в том, что одуревшие от страха сослуживцы способны затоптать даже самого крепкого мужчину, не сомневался.

Судя по крикам, главная давка образовалась возле выхода. К ужасу беглецов дверь оказалась запертой. Запасной выход располагался в кладовых, но к кладовым приближаться не смели. Хоть ящики и прекратили падать, но путь преграждала мощная струя пара — в котельной, видимо, не нашлось человека, сообразившего перекрыть вентиль. За паром угадывалось какое-то шевеление, тусклый металлический блеск. Джоу всматривался в это шевеление и этот блеск, и чем дальше, тем больше ему казалось, что там — живое существо. Гигантское, бесформенное, покрытое медными или бронзовыми листами, но живое.

Появление щупальца Джоу прозевал. Только что рядом с ним никого и ничего не было, и вдруг мерзко — наждачкой по оголённым нервам — зашуршало. Раздалось осторожное постукивание, точно пяток птичек с железными клювиками испытывали прочность станины пресса. А затем над ящиком, которым прикрылся Джоу, поднялось оно. На конце оно было с руку, далее — постепенно утолщалось. Оно состояло из множества тех самых оплетённых металлической сеткой шлангов, которые Ируд оснащал наконечниками. Шланги перекручивались, наподобие мышц из анатомического атласа. Щупальце усеивали стальные крючочки, размером от рыболовного до такого, что не грех и на багор надеть. Конец увенчивал металлический присосок. Щупальце было ощутимо горячим, от него пахло резиной, нагретым солидолом и почему-то рыбой.

Неспешно раскачиваясь, дюйм за дюймом, оно приближалось к Джоу. Сегменты на присоске то надвигались друг на друга, образуя подобие бутона, то вновь расходились цветочком. Белая резина между ними, необычайно похожая на жевательное "тесто",

гадко выдавливалась.

"Если эта штука вцепится мне в лицо…" — подумал Джоу и судорожно лягнул ногой по ящику. Ящик опрокинулся, штуцеры рассыпались. Щупальце резко сместилось, начало шарить по полу, гремя деталями. Потом вновь зашуршало, уползая прочь. Оно двигалось по цеху, наводя ужас на попрятавшихся людей, что-то ломало, что-то роняло. Сил в нём было, кажется, безмерно. В помещении давно стояла мертвенная тишина, нарушаемая лишь воем извергаемого из лопнувшей трубы пара да эхом от падающего оборудования. Затем щупальце будто чего-то напугалось: резко вскинулось к потолку, так же стремительно опустилось вниз и сгинуло в клубах пара. И дальше — в кладовой.

Джоу следил за ним неотрывно и поэтому увидал, как в проёме складской двери, уже после исчезновения щупальца, промелькнуло нечто круглое, влажно блестящее. Гипнотизирующее. Словно глаз гигантского кальмара.

Промелькнуло — и пропало, точно не было.

— Господи боже! — с ужасом выдохнул кто-то.

Наконец загорелся свет. И одновременно в цех ворвались молодцы из охраны — как будто ждали этого момента за дверью.

Джоу, ладонью массируя левую сторону груди (в районе сердца начало покалывать), выбрался из укрытия. На участке царил страшный разгром. Повсюду разливались лужи масла. Масляные потёки виднелись и на стенах. Подвесная трансмиссия была перебита в трёх местах, вывороченный коренной подшипник валялся рядом с прессом Ируда. Миниатюрный и чертовски дорогой фрезерный станочек, на котором однорукий Ди виртуозно изготавливал запчасти, был напрочь сорван с креплений. Ровно посредине цеха, на единственном свободном от обломков участке, лежало тело. Узнать погибшего не представлялось возможным. Человека будто сначала раздавили в огромных прокатных валках, а потом небрежно скомкали и бросили на пол.

Вокруг него стала понемногу собираться толпа. Рабочие переглядывались и негромко переговаривались, пытаясь выяснить, кого среди них недостаёт. Некоторые, едва взглянув на труп, убегали, прикрывая рот рукой. Кого-то рвало.

— Не наш, — сказал над ухом у Джоу Красавчик Энцо. — Правую кисть отдам — не наш. Эта штука притащила его с собой. Эта чёртова железная клешня.

— Щупальце, — сказал Джоу.

— Что?

— Не клешня, а щупальце. Оно было рядом со мной,

Красавчик. Ближе, чем вот ты сейчас.

— А глаз вы видали, братья? — просунул между ними голову однорукий Ди. — Глаз, а? Видали, а?

— Видали, старичок, — сказал Джоу. Энцо кивнул.

— Он же в дверь не помещался! — пискнул Ди. — Это у кого такие глаза-то, а? Я вас спрашиваю, сопляки! Вы почему не отвечаете-то, а?

Джоу без замаха залепил ему пощёчину. Ди всхлипнул и умолк.

Охранники понемногу начали теснить рабочих прочь от страшного мертвеца. С необъяснимым запозданием появился и господин Бифер. Щёки у него тряслись, глаза были выпучены, из пасти несло таким могучим винным духом, что казалось: в господина Бифера влили целую цистерну спиртного. Самого различного спиртного, от эля до самогона, совершенно без разбора. На ногах, впрочем, он держался поразительно крепко.

Первым делом господин Бифер засветил паре человек по мордам, а уж после — заорал. Орал он исступленно, обходясь без единого пристойного слова. Раздавать тумаки при этом он не прекращал ни на секунду. Народ поспешно расползался ближе к своим рабочим местам. Кое-кто даже начал приводить их в порядок — явно лишь для того, чтобы занять руки.

Вскоре после господина Бифера прибыл какой-то чин из директората. У чина имелся жестяной рупор, через который "коллегам и товарищам" объявили, будто на покойника упала станина пресса, оборвавшаяся с крана. Никакой станины поблизости не было, но люди не спорили. Когда чин окончил задвигать свою насквозь фуфловую речь, охранники стали выгонять рабочих прочь.

Уходили с облегчением.

— Не забывай, в половине девятого у "Канатоходца", — напомнил Энцо.

— Не забуду, — пообещал Джоу. — Мне сегодня позарез нужно надраться, Красавчик.

— Не одному тебе, усатый, — сказал Энцо.

* * *

Из "Канатоходца" выкатились изрядно на бровях. А всё пустобрёх Ди! История с явлением на фабрике металлического щупальца и пятифутового глаза крепко дала ему по мозгам. Только и разговоров было, что о Вивисекторе, исполинских кальмарах, гигантских анакондах и крокодилах-людоедах. Про

хруст костей в шестерённой клети однорукий начал рассказывать слишком поздно.

— Где "волы"? — блажил поминутно икающий мастер Ковач. — Где прячутся эти, ик, трусы?

— Найдём! — успокаивал его Красавчик Энцо. Он едва ли не единственный сохранял отдалённое подобие трезвости.

— А может, махнём к сиамцам? — дёргал всех за одежду однорукий Ди. — К сиамцам, а? На столбы развешаем, лодырей жёлтых. А? Мы вкалываем как проклятые, а они пляшут с кукольными китами!

— Далековато до них, старина, — рассудительно сказал Энцо. — Пока добредём, ночь кончится.

— Тогда под землю! — не унимался тот. — Наловим крыс бледнорожих — и на фонари. Украсим родной квартал гирляндами! Д-детей же воруют, суки…

— Сперва "волам" навешаем, дальше посмотрим.

— Тогда чего мы стоим? Вперёд!

— Не надо вперёд, — сказал Джоу. — Вон они, сами в гости торопятся.

"Волов" было человек семь. Они с гоготом, свистом и обезьяньими ужимками гнали по улице странную парочку. Мужчина, если судить по одежде, был самым настоящим "чистеньким", аристо. Лицо у него было разбито до последней степени, волосы на непокрытой голове всклочены и перемазаны не то кровью, не то грязью. Его спутница "чистенькой" определённо не являлась. То ли цыганка, то ли шлюшка из Горелой Слободы.

Парочка была скована между собой наручниками. Что ж, тем веселее будет потеха!

"Волов" и их жертв быстро нагнали. Окружили.

— Парни, вы нахалы, — развязно заявил Красавчик Энцо, помахивая тросточкой. — Бессовестно развлекаетесь на нашей территории. Что за дурацкая затея? Здесь никто кроме нас не смеет шалить и колобродить.

— Отвали, Энцо, — без особой твёрдости сказал один из "волов". — Мы первые нашли этих пташек, мы их и приласкаем.

Красавчик Энцо скроил на физиономии весёлое недоумение:

— Отвалить? Отвалить я тебе могу только пинков. Ясно, каучуковая твоя голова, гуттаперчевая задница? В общем, так. Даю ровно одну минуту, парни. Если через шестьдесят секунд ваши пятки не будут сверкать в полумиле отсюда, пеняйте на себя. А с пташками мы поиграем и без вас. Бирманец, засекай минуту.

На кличку сейчас обижаться не стоило. Энцо знал, что

делает. "Волы" должны были понять, что дело серьёзное. Произнесение вслух прозвища самого яростного драчуна "прессов" свидетельствовало об этой серьёзности куда лучше, чем прямая агрессия. Все это понимали. Джоу вытащил из кармана сначала складной нож "дук-дук" — будто бы по рассеянности, — а уж после часы. Крышка откинулась, механизм заиграл "а нарвал трубит о гибели".

Когда мелодия закончилась, от "волов" не осталось и воспоминаний. Пришла пора для изысканного развлечения. Красавчик Энцо был на такие дела большой выдумщик.

— А кто это у нас тут такой сладенький? — издевательски залопотал он, танцующим шагом приближаясь к парочке. — Ой! Никак настоящий аристократ! Уж не герцог ли? Ваше сиятельство, да как же вас угораздило забрести в нашу клоаку?

— На экскурсию небось, — подхихикнул однорукий Ди. — Вроде как в зверинец. Мы же для него звери, Красавчик.

Аристо начал, было, что-то блеять, но Энцо оборвал его:

— Нет-нет, не отвечайте, сир! Зачем пачкать ваш благородный ротик разговорами с таким отребьем как мы? Давайте-ка лучше спросим о цели посещения вашего прелестного гида. Ну-ка, мадемуазель, покажите мордашку. Ну же, смелей, дорогуша! — Красавчик схватил девушку за подбородок и повернул лицом к собутыльникам.

— Да это подземная! — ахнули "прессы". — Пиявка! Крыса на свободе!

— И впрямь! — восхитился Энцо. — И впрямь, подземная! Только не крыса и не пиявка, не-ет. Полюбуйтесь, до чего хороша! До чего грациозна! Каков цвет кожи! Каковы глаза! Что морщитесь, господа пролетарии, неужто не нравится?

Господа пролетарии загомонили в том смысле, что нет, совсем не нравится. Крыса, она крыса и есть. Ей место в канаве пузом кверху. Или на фонарном столбе.

— Ну-у, — скривил губы Энцо, — это свидетельствует о вашем низком вкусе, господа. Герцогу вот понравилась. А с его утончённым выбором не поспоришь.

Аристо вновь попытался открыть рот, но мастер Ковач без лишних церемоний хлестнул его ладошкой по губам. "Герцог" всхлипнул.

Энцо длинно сплюнул и поскучнел. Как видно, дурачиться ему надоело.

— В общем, читаю по вашим миролюбивым рожам, друзья, что гостей мы обязаны принять по высшему разряду, — сказал он. — Какие имеются соображения?

— Аристо удавить, с крысой побезобразничать, — предложил

однорукий Ди.

— Ха, если ты своего безобразника в канаве нашёл… — загоготал Ковач. — Лучше уж тогда наоборот. Крысу удавить, а безобразничать — с аристо. Он хоть точно чистенький.

— Ай-ай-ай, срамник славянский, — погрозил ему пальцем Энцо. — Что такое ты предлагаешь? За содомию на нас обрушится небесная кара.

— Я венгр, чёрт тебя раздери!

Пока они препирались, Джоу раздвинул "прессов" и подошёл к девушке. Выражение лица у неё было безразличным. Словно она уже поставила на своей жизни крест и лишь ждала: поскорее бы всё кончилось. Чем-то, не то угловатостью форм, не то скулами, она напомнила Джоу его Козушку Кэт. Вспомнились ему и грустные мамины сказки, в которых морлоки оказывались не похитителями детей, а зачарованными зверушками. Добрыми и несчастными. Спасти их, превратить обратно в белочек и зайчиков, мог только солнечный свет. Но злобные ведьмы врали людям, что "подземные" — исчадия ада. Отчего погулять на солнышке заколдованных зверьков не выпускали никогда.

Джоу покусал ус, положил руку аристо на плечо и подтолкнул его:

— Двигай отсюда, чистенький!

— Эй, друг, ты никак перебрал? — удивился Энцо. — Хватит изображать Капитана Грома. Разве мы можем отпустить похитительницу детей?

— Никого она не похищала, Красавчик. Разуй глаза, она же сама ещё ребёнок. Пусть идут!

— Не много ли на себя берёшь, Ируд? — взвизгнул однорукий Ди. — Это общая добыча. Твой голос тут ни черта не решает. Ты всего лишь один из дюжины. Верно, парни?

— Старина Ди прав, — подключился Ковач. — И вообще! Ты, ик, в последнее время наглеешь, Бирманец! Меня, ик, подсиживаешь. Доносишь на нас господину Биферу… Сту… ик… стукач!

— А вот за это ты мне ответишь, вонючий румын! — разъярился Джоу. Быстрым движением он выхватил "дук-дук" и шагнул к Ковачу. — На ремни порежу!

Ковач отскочил. Джоу рванулся вдогонку. На нём сразу повисли несколько человек, но он, свирепо рыча и мотая головой, пёр вперёд.

— Да держите вы крепче этого психа! — заорал Красавчик Энцо. — Убьёт же мастера!

Наконец Джоу повалили, прижали к мостовой вооруженную руку и, действуя как рычагом тростью Красавчика Энцо,

выворотили из кулака нож. Кто-то из молодых сбегал в паб, притащил бутылку тёмного. Ируду разжали рот и, приговаривая, "остынь, остынь, Джоу", напоили пивом. Часть пива, конечно же, попала на манишку, отчего Джоу разорался и сделал попытку врезать криворукому поильцу в глаз. Барахтались так довольно долго, а когда Джоу пообещал больше не лютовать и его отпустили, выяснилось, что аристо и пиявка успели улизнуть.

"Прессы" рассвирепели, и чуть было не взялись за Джоу повторно, но Красавчик сумел подавить и эту ссору.

— И чёрт с ними! — объявил Энцо. — Убежали, значит так тому и быть. В конце концов, наши с вами простенькие забавы ерунда по сравнению с тем, что им приходится выносить ежесекундно.

— Говори проще, Красавчик, — озадачился однорукий Ди. — Чего такого страшного им приходится выносить?

— Друг друга, балда!

Все захохотали. Мир был восстановлен. Ируду вручили кварту очищенной и вернули "дук-дук", стребовав поклясться усами, что против своих его более не обнажит. Бутылку пустили по кругу.

Потом они разгуливали по улицам, задираясь к прохожим, горланя непристойные песни, колотя в окна и ставни домов. Они не пропускали ни одного паба, ни одной самой зловонной забегаловки, и скоро даже Красавчик Энцо передвигался исключительно по кривой. К сожалению, "волы" им больше не попадались, не попадались и другие весёлые компании. Кулаки же хотелось почесать просто чудовищно. Без доброй драки и грядущее посещение девочек казалось пресным. Когда они уже готовы были наброситься буквально на фонарный столб, им повстречалась ещё одна любопытная парочка.

Сначала Джоу решил — это всё те же аристо и "подземная". Однако, приблизившись, понял, что ошибся. Кавалер, несомненно, морской офицер, а девица… Девица походила на какую-то актрису. Но здесь, в это время никаких актрис находиться попросту не могло.

"Стало быть, гризетка, — подумал Джоу. — Наверное, дорогая штучка. Интересно было бы испробовать, какова такая баба на вкус. Придётся пугнуть морячка".

Он осклабился и потянул из кармашка "дук-дук".

— Прочь с дороги, шваль! — сказал офицер и выставил вперёд руку. В кулаке торчал какой-то длинный предмет. Что именно, спьяну не разберёшь.

— Бирманец! — заорали сзади. — Джоу, стой! У него пистолет!

— Бирманец Джоу не останавливается, — сказал он, поводя лезвием. — Меня железный кальмар не напугал, а тут… Эй, моряк, красивый сам собою…

Он сделал ещё один шаг. Грохнуло. В правый бок словно ткнули острой палкой — и сейчас же по телу начала разливаться омерзительная слабость. Офицер продолжал оставаться на месте, поэтому Джоу повернулся назад. Следовало строго, очень строго спросить, кто из парней, чёрт возьми, валяет дурака?

Парни убегали. Последним бежал однорукий Ди. Его постоянно заносило в сторону.

Джоу плюнул им вслед. Трусы!

Мимо быстрым шагом прошли офицер с "актрисой". В сторону Ируда они даже не взглянули.

— А… — начал говорить Джоу, но сразу же забыл, что намеревался произнести дальше.

Ноги почему-то отказывались его держать.

* * *

Джоу привалился к склизкой от плесени стене, медленно сполз на землю и сел, подтянув колени к груди. Голова кружилась, перед глазами колебались смутные силуэты. Разглядеть их всё равно не было ни малейшей возможности, поэтому Джоу опустил веки. В боку, куда попала пуля, ощущались короткие пульсирующие толчки — наверное, это вытекала кровь. Ируд, по-прежнему не открывая глаз, стащил с головы котелок и вынул из него целлулоидную вставку. Без вставки котелок сразу потерял форму и твёрдость. Джоу смял его в кулаке и прижал к ране.

Толчки ослабли, и сразу смутные силуэты, так скверно видимые глазами, обрели чёткость и объём. Странно, однако сжатые веки ничуть не мешали их разглядывать, скорей напротив. Это были горбатые киты. Они парили среди кружащихся снежинок, всплескивали длинными плавниками и беззвучно разевали пасти. Может быть, они пели, а может, дышали, радуясь обилию воздуха, которого вечно не хватает в глубинах. Потом киты все разом превратились в броненосцы, украшенные вымпелами, потом обратно. Потом Джоу почувствовал, как кто-то обнимает его за плечи. Он скосил закрытые глаза и увидел щупальце — такое же, как давеча в цеху. Щупальце обвивало тело Джоу, присоска сдавливала грудь, а один из крюков входил в бок. Ровнёхонько в пулевую рану, непостижимым образом миновав и котелок и руку. На конце у щупальца обнаружился слизистый

отросток со ртом, похожим на раскрытого моллюска или женский орган. Рот страстным шёпотом вещал об ужасном будущем человечества, где выживут только "сращенные" с механизмами андромехи, и предлагал Ируду, не теряя ни секунды, заменить кишечник шлангами.

Джоу брезгливо стряхнул щупальце с плеча, приоткрыл глаза и начал подниматься. Рассиживаться было нельзя. Пуля вроде бы прошла навылет, но кровь… кровь… Встать удалось со второй попытки. Он некоторое время стоял, отдыхиваясь и определяя, куда идти. Наконец, сориентировался и, пошатываясь, побрёл. У него имелась крошечная надежда, что толстуха Ванда дома, и не спустит его с лестницы. В ушах шумел прибой и орали далёкие чайки.

Вдруг сквозь шум пробился звонкий голос:

— Ого! Мама, смотри, кто это! Это же сам Бирманец Джоу! Во, набрался! Привет, Джоу! Познакомься с мамой!

Ируд сконцентрировал взгляд на двух маленьких фигурках, преграждавших ему дорогу. Одна была детской, другая — женской. Или бабской? Нет, решил Джоу, всё-таки женской. Лица женщины было не разобрать. Вроде, миленькое.

Пацан был тот, фабричный.

— Селёдка? — буркнул он. — Ты, что ли?

— А то!

— Какого дьявола вы тут бродите, мэм? — спросил Джоу женщину. — Красивым дамам сейчас лучше сидеть за крепкой дверью, под охраной мужчины с ружьём.

— Спасибо, у меня есть защитник, — парировала та и протянула узкую ладошку. — Кэт.

— Джоу.

Стоило отнять руку от раны, как пропитавшийся кровью котелок шлёпнулся на землю. Головокружение сразу усилилось.

— Эй, да ты ранен, дружок! Ну-ка, обопрись, — скомандовала Кэт и подставила Ируду плечо. — Давай-давай, живо.

Мальчишка подскочил с другой стороны, начал пихать в ладонь Джоу носовой платок. Тот поймал его за шею и сообщил:

— Учти, селёдка, за "Бирманца" уши оборву!

Мальчик покорно кивнул.

— Ну, тронулись, — твёрдо сказала Кэт.

Они сделали первый шаг. Ируд поймал языком кончик уса, втянул в рот и начал посасывать. Это придавало ему уверенности и сил. Почему-то рядом с этой маленькой женщиной Кэт, вовсе не похожей на его Козушку, Ируду очень хотелось быть уверенным и сильным. У уса был кисловатый привкус железа.

На севере, над Пуэбло-Сиамом, вспухли разноцветные зонты фейерверков. Звук дошёл с запозданием, но хлестнул мощно. Так, что отдалось в ране.

Бум!

Потом снова и снова.

Бум! Бум…